

Л. В. ПУМПЯНСКИЙ

ЛОМОНОСОВ И НЕМЕЦКАЯ ШКОЛА РАЗУМА¹

Настоящая работа имеет самостоятельный характер, но является вместе с тем продолжением нашей работы о Тредиаковском и немецкой школе разума.² Для не читавших этой работы заметим, что за анализом истории маринизма и антимаринизма (школы разума) в немецкой поэзии (гл. 2 и 3) мы старались доказать, что Тредиаковский судит о немецких литературных делах с точки зрения школы разума (гл. 4), литературную программу которой он усвоил под особым влиянием петербургско-немецкой академической поэзии (Юнкера, в частности), а тонизацию сил-

¹ Выдающийся советский филолог Лев Васильевич Пумпянский (1891—1940) занимался творчеством Ломоносова с конца 1910-х гг. и до последних лет жизни, когда и было написано публикуемое исследование. Оно посвящено зарождению и становлению важнейшей для Ломоносова государственно-политической тематики. Соотнося эту тематику с литературной продукцией петербургских представителей немецкой поэтической «школы разума», автор показывает, насколько отличен Ломоносов от придворно-академического сервилитета немецких описцев, насколько он самобытен и национален. Исследование Л. В. Пумпянского по материалу и проблемам тесно связано со статьей «Тредиаковский и немецкая школа разума» (см. примеч. 2) и с монографией «Немецкая поэзия XVII в.», написанной также в конце 1930-х гг. и оставшейся в рукописи (фактографические ее фрагменты изданы в кн.: История немецкой литературы. М.; Л., 1962, т. 1). Концепция всех трех работ была конспективно изложена автором в статье «Поэзия Ф. И. Тютчева» (Уралия. Тютчевский альманах. 1803—1928. Л., 1928, с. 36—48). Представляется, что исследование Л. В. Пумпянского, в котором историко-литературные проблемы рассматриваются в широком культурном контексте, не потеряло научной актуальности и будет с интересом встречено читателями «XVIII века» (напомним, что Л. В. Пумпянский был одним из авторов первого сборника этой серии, вышедшего в 1935 г.). Рукопись статьи Л. В. Пумпянского любезно предоставлена его вдовой Е. М. Иссерлин и подготовлена к печати Н. И. Николаевым; переводы иноязычных текстов, помещенные в примечаниях, сделаны им же. — *Ред.*

² Пумпянский Л. В. Тредиаковский и немецкая школа разума. — В кн.: Западный сборник. I/ Под ред. В. М. Жирмунского. М.; Л., 1937. Необходимые ссылки на эту работу в дальнейшем будут делаться внутри текста по сокращенной форме (ЗС) и с указанием страницы.

лабического стиха производит под весьма вероятным влиянием длинного немецкого трохайического стиха (гл. 5). Ход доказательств и выводы привели нас к естественному и гораздо более важному вопросу: соотносится ли петербургской немецкой поэзии ода Ломоносова? Упреждая наш вывод, заметим, что придворно-академическая немецкая ода в Петербурге сыграла известную роль в сложении ломоносовской тематики, но осталась совершенно в стороне от развития главной и гениальной особенности ломоносовского стиля, того пресловутого «парения», в котором современники справедливо видели отличительное и неотъемлемое свойство поэзии Ломоносова.

1. Школа разума *in partibus*³

Исследование чрезвычайно затруднено несобранностью материала. В 1760 г. кенигсбергский поэт, готшедианец Бок, задумал издание Юнкера (скончавшегося уже давно, в 1746 г.); оно не состоялось за смертью Бока, благодаря чему Юнкер выпал из поля зрения немецких историков литературы. Кстати, тот же Бок раньше издал Питча (учителя Готшеда); следовательно, несостоявшееся издание вошло бы в типичную для школы разума сеть внутрипартийных взаимоизданий (ЗС, с. 172); Юнкер для Бека — один из равноправных ее представителей; что он действует в Петербурге, а не в Дрездене, дела не меняет.

Между тем стихотворные тексты Байера, Бекенштейна, Юнкера, Штелина и др. пока рассеяны по отдельным изданиям од, по «Материалам» А. А. Куника,⁴ по комментариям М. И. Сухомлинова в академическом издании Ломоносова⁵ и больше всего по многочисленным томам «Материалов для истории Академии наук»,⁶ где свыше 30 од и стихотворных надписей можно найти в I, II, III, VI и X томах. Но пока нет полного собрания всех дошедших до нас немецких стихов петербургских академиков, а также и всех прозаических текстов, имеющих литературное и программно-эстетическое значение, возможны только предварительные наблюдения. Правда, школа разума настолько элементарна и единообразна, что достаточно простой оглядки для того, чтобы не осталось сомнения в том, что именно к ней примыкает петербургская академическая поэзия. Но для анализа тематики нужен весь материал, тем более что известная связь Ломоносова

³ «В других странах» (*лат.*).

⁴ Куник А. А. Сборник материалов для истории имп. Академии Наук в XVIII веке. СПб., 1865, ч. 1—2.

⁵ Ломоносов М. В. Соч. / С объясн. примеч. М. И. Сухомлинова. СПб., 1891—1902, т. I—V. Далее ссылки на это издание даются в тексте статьи с указанием тома и страницы.

⁶ Материалы для истории имп. Академии наук: В 10-ти т. СПб., 1885—1900.

с этой поэзией есть связь именно (и только) тематическая. Облик этих поэтов, однако, в общих чертах ясен.

Юнкер попал в Петербург только потому, что ему из-за недоброжелательства Кенига (ЗС, с. 178—179) не удалось стать придворным поэтом в Дрездене. Иначе он стал бы поэтом не Биронова, а Брюлева режима. Штелин приглашен Корфом как признанный в Германии специалист по оформлению придворных и официальных празднеств; успех издания «*Illuminiertes Leipzig*» (1734) был таков, что, если бы не петербургское приглашение, Штелина переманил бы двор Августа III; в Дрездене этот талантливый человек развил бы деятельность коллекционера, историка, летописца искусств и стихотворца, принципиально ту же, что в Петербурге. Литературные его взгляды допетербургского периода достаточно характеризуются тем, что он перевел «*La fida Ninfa*» Маффеи (итальянского буалоиста, старшего современника Ломоносова, неоднократно похвально упоминаемого Кенигом, Готшедом и др.).

Все эти люди приезжают в Петербург со сложившимися взглядами и сложившимися навыками социально-бытового поведения. Петербург для них — это Дрезден или Вена. Почва опасная, надо уметь лавировать, вовремя угадывать готовящееся изменение погоды, — но ведь и у Брюля их ждали бы точь-в-точь те же опасности. Это входит в профессию. Они талантливые бюргеры, специализировавшиеся в обслуживании двора; невежество в метеорологии переворотов было бы профессиональным минусом. «Кажется (пишет Штелин перед самым переворотом 1741 г.), надвигается плохая погода со снегом и градом; Левенвельде с Голвкиным выглядят как полумертвые, а у Миниха что-то сбегала с лица командирская маска». Измените имена, и у вас была бы переходящая от автора к автору цитата из Сен-Симона. А каким чудом удержался Юнкер после падения Миниха, хотя все знали, что Миних его патрон, а Юнкер присяжный поэт и историограф этого патрона? Однако умел удержаться, и коронацию Елизаветы (1742) поет тот же Юнкер: *Du nimmst den Scepter an: die Bosheit fürchte sich*⁷ (I, с. 64). Но *Bosheit* это ведь как раз те, кого Юнкер еще так недавно пел! Оду эту перевел Ломоносов. Можно вообразить, что он думал за работой.

Без всякого труда переменял свое поэтическое подданство и кенигсбергский профессор поэзии Иоганн Георг Бок. Обстоятельства Семилетней войны, отрезав Кенигсберг от армии Фридриха II, оставили Бока без короля: положение пестерпимое. «Не может статься, чтобы не было короля. Государство не может быть без короля», — тем более поэзия. Но в противоположность Поприщину, который никак не хотел, чтобы на испанский престол взошла донна, Бок совершенно удовлетворен Елизаветой. В Петербург, через Фермора, шлетя ода, поющая *die Selbstherrscherin*

⁷ «Ты принимаешь скипетр — страшится злоба» (нем.).

aller Reussen.⁸ Бок становится почетным членом Петербургской Академии Наук, в следующем году освобожден от контрибуции и пишет еще несколько од в честь Елизаветы, в которых выражает ужас при одной мысли о возможном, если бы не она, пресечении Петрова дома. Отойдя Кенигсберг к России, Бок без сомнения стал бы петербургским академиком и *Minerva afflante*⁹ продолжал бы до времен Екатерины II традицию Юнкера и Штелина. Мы имели бы третьего представителя придворно-профессорской немецкой оды в Петербурге.

Как понимать такую глубоко коррумпированность всех этих людей? Большинство из них были вовсе не худшими среди своих современников; все толково изучили свое дело, много трудились, любили поэзию, любили механизм стиха, изрядно знали несколько литератур; все, конечно, были карьеристами, но карьеризм интеллигентов из бюргерства был в эпоху абсолютизма повалью общим явлением, а самые талаштливые, которым как раз размер таланта помешал сделать карьеру, становились болезненно-яркими поэтами самой темы неудавшейся карьеры (Гюнтер), чем отрицательно подтверждали подавляюще важное значение вопроса о карьере для всех людей своей социальной группы. В Германии, в силу особо печальной классовой биографии немецкой буржуазии, это явление приняло особо одиозные черты, но явление было общеевропейским.

Первый серьезно поставил этот вопрос К. Боринский.¹⁰ Заслуга его заключалась в том, что он вывел вопрос из области нетрудных насмешек Гервинуса и Шерера, которые с высоты своего либерализма не находили достаточно презрительных слов для характеристики раболепия придворных поэтов. Боринский заговорил о типе «политического», как он выражался, человека, противоположном предшествующему типу «гуманиста». И тогда, в эпоху гуманизма, поэзия была близка к двору, «но разница состоит в том, что тогда двор стал ученым и поэтическим, а теперь ученость и поэзия стали придворными».¹¹ Перед нами вопрос, касающийся большого периода в истории европейской поэзии. Но Боринский чрезвычайно преувеличил роль испанского иезуита Грасиана, превратив его в создателя целого человеческого типа. Между тем еще раньше 1630 г. (дата «Героя», первого трактата Грасиана) появилась «Аргенида» Барклая (1621), одна из влиятельнейших книг эпохи абсолютизма, настольная книга Ришелье. Без учета «Аргениды» нам всегда будет не до конца понятна социальная позиция Корнеля, Буало, Фенелона, Опица, английских писателей-абсолютистов (при Якове I и Карле I), позднее Драйдена, Попа и вообще всех создателей европейского классицизма. «Аргенида» представляла полный свод абсолютистской морали.

⁸ «Самодержица всероссийская» (нем.).

⁹ «Вдохновенный Минервой» (лат.).

¹⁰ *Borinski K. Baltasar Gracian und die Hofliteratur in Deutschland.* Halle a. S., 1894.

¹¹ Там же, с. 108.

В меру национально-прогрессивного значения абсолютной монархии поклонниками «Аргениды» могли быть такие люди, как Ломоносов («Риторика», 1748, § 151) и Тредиаковский, перевод «Аргениды» которого (совершенно еще не освещенный научно) менее всего был случайным явлением и в развитии Тредиаковского, и в истории русской литературы 1750-х гг. Но «Аргенида» представляла и самую настоящую героизацию сервиллизма. «Никопомп был человек, с детства преданный наукам, но он презрел прилежание одним книгам. Юношей он покинул профессоров и стал искать знания во дворцах князей и королей, единственной истинной и свободной школе» («Аргенида», I, 15). Ренегат науки — герой абсолютистской интеллигенции!

Барклай был, следовательно, учителем поведения и для тех немцев, талантливых ничтожеств, литературная система которых нами сейчас исследуется ради того, что тень ее стояла над колыбелью русского классицизма. Впрочем, не дожидаясь Барклая, поэтом, жившим по той же морали сервиллизма, был уже Малерб.

На преувеличение роли Грасиана (и на некоторые другие частные ошибки) было сразу указано Боринскому современной ему немецкой наукой, но, конечно, неуказанной осталась тогда главная ошибка всего его построения, восходящая к его, так сказать, идеалистической социологии. Боринский сводит весь процесс к смене «гуманиста» «политиком». Но реальное содержание «политика» — это интеллигент (преимущественно бюргерский, очень часто плебейский), специализировавшийся в обслуживании дворянской монархии и даже в создании ее ведущих стилей. Не расчленил Боринский и персонал своих «политиков». Буало, Лейбниц, Ломоносов были люди высоко принципиальные и политически не развращенные. Их связь с абсолютизмом была не виной, не результатом личной коррумпированности, а судьбой; они делили дореволюционную судьбу бюргерской и национальной учены. Как можно сливать с ними в общую группу «политиков» малопринципиальных Нейкирхов или таких откровенных, вульгарных карьеристов, как Бессер, Кениг и Юнкер?

Именно специалистами не только поэзии, но и карьеризма Юнкер и Штелин из Саксонии приехали в Петербург. Оставалось только найти петербургские бытовые формы для жизненного поведения, рекомендованного Барклаем (из соображений национально-политических) и узаконенного (из соображений сервиллистских) столетней практикой немецких университетов.

Нетрудно было найти петербургские формы и для усвоенных еще на родине литературных принципов школы разума. Здесь надо было, скорее, разгружать, выбрасывать, чем изобретать. Отпадала, например, промоционная ода (т. е. ода на получение ученой степени), типичный плод немецкой обстановки (сколько таких од у одного Гюнтера!). Отпадала ода на бракосочетание важных (но не коронованных) персон, эпиталамическая, как ее называли в Германии, где она производилась в количестве, маловероятном для всякого, кому не приходилось перелистывать сти-

хотворные немецкие книги 1660—1730-х гг. Впрочем, Юнкер написал (1733) одну такую оду на свадьбу в семье Бирона; возможно, что в своей немецкой среде академики писали их к пасторским и купеческим свадьбам. Приметой брачной оды была грубая непристойность педантически-пикантных намеков на радости законной эротики (и здесь Гюнтер не лучше других). Далее, отпала (либо писалась не для печати) лютеранская религиозная лирика и лирика любовная. Что осталось из арсенала жанров? В конце концов только комплиментарная ода (политическая) и надпись. Сузилась и без того узкая метрика школы разума; за очень немногими исключениями, петербургская немецкая поэзия знает только четырехстопный ямб (в немногих строфических комбинациях) и шестистопный ямб (либо парами на французский лад, либо, чаще, катренами). Живо можно представить себе размеры этого жанрового, метрического и строфического сужения, если от тома Гюнтера или даже лейпцигского немецкого общества непосредственно перейти к произведениям немецких муз на Неве. За ясностью и несомненностью вопроса цитаты не нужны. Нужно другое: вспомнить совершенно одинаковую узость жанров (ода и надпись), метрики и строфики Ломоносова, особенно в первые петербургские годы. Вопрос этот, однако, лучше перенести, потому что основная связь Ломоносова с немецкой академической поэзией есть все же связь тематическая (см. ниже). Но ее можно понять только на фоне допетербургской тематики Ломоносова.

2. Ранний Ломоносов

Нужно предположить первый виршевой период, о котором мы ничего не знаем. Интересное замечание Ломоносова (при изучении трактата Тредиаковского) «честный пентаметр дактилехореический» к стиху Кантемира «уме слабый, плод трудов не долгой науки»¹² относится к более позднему времени и предполагает тонистическое метрическое сознание.

Далее, нужно предположить второй, немецко-студенческий, период. На этот период падает и ода из Фенелона и Хотинская, но как раз обе эти оды стоят особняком; ошибочно исходить из них, или даже из одной Фенелоновой, потому что они пишутся официально, для Академии, и вряд ли выражают основную литературную тенденцию этих лет. Неправ поэтому П. Н. Берков: «В 1738—1739 гг. в поэтической деятельности (Ломоносова, — Л. П.) происходит некоторый отчетливый поворот в сторону одической лирики. Он переводит оду Фенелона».¹³ Это так же не-

¹² Берков П. Н. Ломоносов и литературная полемика его времени М.; Л., 1936, с. 61.

¹³ Там же, с. 65.

верно, как выводить, например, из «Воспоминаний в Царском Селе» «поворот молодого Пушкина к оде и к Державину» или, еще точнее, вводить знаменитую оду Гюнтера (1718) в основное русло его развития. В Германии никакого принципиального перехода к оде у Ломоносова совершиться не могло, потому что он живет там в обстановке, социально-бытовой и литературной, которая ничего общего не имеет с предпосылками одического творчества всерьез.

Как же представить себе его литературную позицию тех лет? На основании каких данных?

Есть два ценнейших прямых свидетельства. Оба общеизвестны, но оба недостаточно взвешены наукой.

В биографическом очерке (в изд. соч. Ломоносова 1784 г.), составленном по материалам Штелина, говорится: «От обхождения с тамошними студентами (NB! — Л. П.) и слушая их песни (NB! — Л. П.), возлюбил немецкое стихотворство. Лучший для него писатель был Гюнтер» (I, примеч., с. 58). Далее есть прямое свидетельство того же Штелина: «В особенности любил стихотворения Гюнтера и знал их почти наизусть» (I, примеч., с. 57). Итак, Ломоносов 1) знает хорошо всю современную ему немецкую поэзию; 2) в особенности ту, которая пользуется любовью студенчества; 3) в частности, любимца немецкой молодежи Гюнтера; 4) а также песенную студенческую поэзию. К этим прямым данным можно прибавить еще одно косвенное соображение. В 1739 г. надо писать официальную оду. Почему он берет в образец именно Гюнтерову оду 1718 г.? Очевидно потому, что он исходит из аналогии в ситуации, т. е. прекрасно знает, что для Гюнтера тоже эта ода была официальной, что она не в духе всего его творчества, что он, однако, так блестяще справился с задачей, что победил придворных поэтов на их же территории. Все это предполагает полное понимание поэзии Гюнтера и особую к ней любовь по аналогии в социальной судьбе. По-гюнтеровски у Ломоносова и получилось, потому что Хотинская ода так же относится к действительной литературной позиции Ломоносова в 1739 г., как ода 1718 г. к действительному направлению поэзии Гюнтера.

Все указания скрещиваются в одной точке: те стихи Гюнтера, которые особенно были популярны в студенческой среде, ближе всего определяют литературную позицию Ломоносова-студента. А за какие именно стихи Гюнтер стал любимым поэтом силезского (он сам был уроженец Силезии), саксонского (он учился в Лейпциге) и всего германского студенчества, мы знаем довольно точно. Прежде всего, за стихи о своей социальной судьбе, стихи такой потрясающей силы, каких потом до Шиллера в немецкой поэзии не будет. Гюнтер — это Sturm und Drang на более ранней стадии развития немецкого бюргерства. «О, невыразимое блаженство! — Я удостоился — За правду претерпеть стыд. — Пусть будет, что должно быть, — Пусть я подвергнусь мукам, — Врагу и

насмешке я противостояну с радостью». ¹⁴ «Жестоки мои испытания, — Но горек цвет и сладок плод. — Через муки мое рвение достигает своей чести. — Знайте, завистники, обступающие меня сейчас криком, — Знайте, что когда-нибудь вы широко услышите, — Какой из моего несчастья вырос плод». ¹⁵ Сколько тысяч сердец в немецком студенчестве сильнее билось при чтении таких стихов! Это были их муки, их честолюбивые надежды, всех этих каторжно-трудолюбивых выходцев из провинциально-пасторской и ремесленнической среды. Биография Гюнтера, освещенная такими стихами, стала легендой. «Как выходит, что наш дар — Не дает нам другой награды — Как бедность и огорчения? — Придворный шут живет лучше, — С жирным ножом сидит он, смеясь, за столом обилия, — А наша ученая рука чистит релу». ¹⁶ Затем гордость высокого замысла, жажда оставить имя векам. «Любовь к науке и радость знания толкала меня с детских лет — До этой минуты стремиться к высокой цели, — И я могу припомнить, что уже десяти лет — Я был озабочен мыслью — о воздействии моей души на время». ¹⁷ Десятки раз мы встречаем у Гюнтера это основное для него чередование повести об унижениях, муках, голоде, обидах и гордой мысли о бессмертии имени. Часто — гордое презрение к тем, кто, как животное, равнодушен к прославлению себя через науку и, в связи с этим, прославлению науки самой. Так как связь между строфой *Die Musen lohnen ihren Kindern...* ¹⁸ (в оде «An die Frau von Bresslerin») ¹⁹ и похвалой наукам в оде Ломоносова 1747 г. несомненна, ²⁰ то именно в духе этих тем Гюнтера можно представить себе литературные вкусы Ломоносова-студента. Конечно, в гениальной оде 1747 г. похвала наукам получила иной смысл, из студенческой (исповедь веры «сына Муз») стала государственной и национально-индустриальной, но авторский ее зародыш следует отнести на 10 лет назад; следовательно, перед нами указание, *какого* Гюнтера молодой Ломоносов любил и знал наизусть.

Огромное, далее, впечатление произвела покаянная лирика Гюнтера, страстное сожаление о неправильном жизненном пути, об ошибках, о страстях и растраченных силах. «Таёт моя сила и кровь и ум, тухнет огонь глаз, И слабые колонны тела едва держат иссохшее здание». ²¹ Хоть с лютеранской окраской, Гюнтер стал своего рода немецким Вийоном, поэтом грозного расчета с жизнью, а в условиях эпохи поэтом несбывшейся карьерной

¹⁴ *Günther J. Ch. Der Sammlung... teutschen und lateinischen Gedichten. Bresslau und Leipzig, 1735, Th. 4, S. 178.*

¹⁵ Там же, с. 265.

¹⁶ Там же, с. 269.

¹⁷ Там же, с. 198.

¹⁸ «Музы вознаграждают своих детей...» (нем.).

¹⁹ *Günther J. Ch. Der Sammlung...*, S. 46—47.

²⁰ На это нам приходилось указывать (см.: *Пумпянский Л. В. Очерки по литературе первой половины XVIII века.* — В кн.: XVIII век. М.; Л., 1935, с. 129—130).

²¹ *Günther J. Ch. Der Sammlung...*, S. 195.

судьбы. Без объяснений понятен отзвук, который такая тема должна была найти в немецком студенчестве. Весьма вероятно, что известные стихи в трагедии «Тамира и Селим», автобиографическое значение которых было давно замечено, падо связывать именно с Гюнтеровой постановкой вопроса о страстях:

Я больше как рабов имел себя во власти,
Мой нрав был навсегда уму порабощен,
Преодолены я имел под игом страсти
И мраку их не знал, наукой просвещен
И т. д.

Тамира и Селим, ст. 370—380 (I, с. 237)

Ламанский,²² справедливо видя во всем этом отрывке отзвук бурь, кипевших когда-то в душе Ломоносова, напрасно, однако, относит намек, заключенный в этих стихах, к ранним московским годам. Ведь Селим, «царевич Багдадский», говорит об Индии, браминах, которые вооружили его против страстей, т. е. о своих, так сказать, университетских годах на ученой чужбине. Автобиографичность монолога указывает, следовательно, прямо на Саксонию, а литературно на Гюнтерову тему: борьба страстей с наукой. Гюнтер пал, Ломоносов устоял, но тема эта для него остается связанной с его молодостью, личной и литературной.

Что забавная поэзия (мы имеем в виду совершенно определенный жанр: ода в «забавном слого», как говорили у нас, буршикозном, как говорили в Германии) входила в положительный литературный кругозор Ломоносова-студента, можно предположить, во-первых, по точно нам известной любви демократического студенчества к этому жанру, который, собственно, в студенческой и плебейско-ученой среде и развился; во-вторых, по одному отзвуку забавного стиля у самого Ломоносова. Пьеса, задуманная как басня и начатая как басня: «Надел пастушье платье волк...» (ср. начало настоящей басни 1760 г.: «Надела на себя свинья лисицы кожу...»), закончена не в басенном, а в типично забавном слого:

Я притчу всю коротким толком
Здесь мог бы, господа, сказать:
Кто в свете сем родился волком,
Тому лисцей не бывать.

(I, с. 175—176)

Датировка этой басни 1747 г., т. е. годом второй «Риторики», совершенно условна. Возможно, что басню следует отнести к тем примерам, которые Ломоносов внес в «Риторику» из запаса своих гораздо более ранних произведений.

Позволим себе краткое отступление по совершенно еще тому вопросу о русском забавном слого. Он знал сложную преды-

²² Ламанский В. И. Михаил Васильевич Ломоносов: Биографический очерк. СПб., 1864, с. 63.

сторию (додержавинскую, до-Фелицыну), связанную, по-видимому, с петербургской бытовой офицерской поэзией и соотносящуюся немецкой забавной поэзией (студенческой). Забавных поэтов в Германии в 1730-е гг. было много, хоть даровитых, кроме Гюнтера, среди них не было ни одного. Установилась жанровая философия забавной оды: игра, дурачество, случай правит миром, — самоутешение умного плебея. Державин, по-видимому, неоднократно перечитывал своего Гюнтера, но из всех его забавных од особенно помнил действительно лучшую: «An die Gelegenheit».

O Göttin! die du in der Welt...
Wo soll ich deinen Tempel finden?
Wo steht dein Bild? Wo raucht
dein Heerd?..

Но где твой троп сияет в мире?

Где, ветвь небесная, цветешь?

(Фелица)

Und tut verliebte Wunderwerke...

Волшебную ширинкой машешь
И производишь чудеса...

Nun mächtige Gelegenheit!
Nun komm und gib mir holde
Mühen²³

Слети ко мне, мое драгое

(На счастье, 1789)

Ода «На счастье» — одно из самых оригинальных произведений Державина, совершенно русских по материалу умных наблюдений («и целый свет стал бригадир»), но жанр и тема (вернее, уместность темы для забавной оды) восходят к оде «An die Gelegenheit». Само заглавие получает свой смысл из Гюнтера (счастье не в смысле *bonheur*, а случай, Фортуна, т. е. как раз *Gelegenheit*). Известная приписка «когда и автор был под хмельком» не имеет никакого личного значения. Это жанровая черта. Одна ода Гюнтера озаглавлена: «Als er einen dichten Rausch hatte, diktierte er folgende Verse».²⁴ И эта ода тоже написана цепью комических афоризмов, дающих, как и у Державина, картину с ума сошедшего мира:

Die Welt ist jetzo voller Narren,
Und darum bin ich einer mit...
Man leugt bisweilen nach der Mode,
Und nach der Mode lüg auch ich²⁵
и т. д.

«Под хмельком» здесь как бы мотивация картины превратного, «шьяного», мира. В изданиях Гюнтера встречается еще одна забавная ода с подобным заглавием «Als er gleichfalls zu einer andern

²³ *Günther J. Ch. Der Sammlung...*, S. 289, 290. «О богиня! Ты, что в мире... Где отыщу твой храм? Где образ твой? Где курится твой жертвенник?.. И совершает любезные чудеса... Ныне, всемогущий случай! Ныне приди и будь ко мне благоприятен» (нем.).

²⁴ «Будучи сильно навеселе, он продиктовал следующие стихи» (нем.).
²⁵ *Günther J. Ch. Der Sammlung...*, S. 325. «Мир ныне полон дураков. Затем и я один из них... Подчас из моды лгут, и я лгу тоже из моды» (нем.).

Zeit dicht berauscht war».²⁶ Возможно, что в этих двух случаях (как в заведомо известных десятках других) заглавие принадлежит не Гюнтеру, а позднейшим издателям, но Державин этого знать не мог. Заметим еще, что известные стихи 1783 г.:

И словом, тот хотел арбуза,
А тот соленых огурцов,

которые принято считать басенными, написаны в типично забавном стиле (мир сошел с ума). Происхождение и история русского забавного стиля еще совершенно не исследованы. Между тем забавный слог нашего XVIII века — это как раз тот поэтический язык, который ляжет в основу онегинского языка (см. выше даже у Ломоносова, стоявшего в стороне от развития забавной поэзии, в приводившихся четырех стихах типично онегинское «господа»).

Что ж до религиозной лирики Гюнтера, то отношение к ней Ломоносова можно косвенно установить по ироническому «О, коль» к стиху Тредиаковского «Шмолька толь духовна».²⁷ Шмольк был рядовой ортодоксальный лютеранский гимнолог. Ломоносов пренебрежительно к нему относится, потому что знает и любит религиозную лирику Гюнтера, религиозную, впрочем, только по фразеологии: страстные жалобы на зависть и злобу могущественных глушцов, апология своего жизненного пути, направленного к высоким целям, и одновременно страстное же покаяние в жизненных ошибках дают и этой части творчества Гюнтера значение социального документа эпохи, отдаленно предвещающего тип сломленных бурных гениев, каков, например, Ленц.

Перед самым отъездом из Германии Ломоносов 13 апреля 1741 г. пишет Виноградову: «Ich bitte nur die drei Bücher: Nicolai Causini Rhetoricam, Petri Petraei Historiam von Russland und den Günther. . . Bitte das letzte mal mir zum wenigsten die drei gedachte (упомянутые) Bücher zu überschicken»²⁸ (III, примеч., с. 31). А так как имеется в виду, конечно, известное (первое полное) издание 1735 г., то в связи с вышеупомянутым свидетельством Штелина выясняется картина непрерывного интереса Ломоносова к этому изданию во все годы студенчества, вплоть до последних дней пребывания в Германии. В пустыне немецкой поэзии 1720—1730-х гг. Гюнтер был единственным крупным человеком, с чертами гения. Иностранец, который умел уже в студенческие годы выделить Гюнтера и признать в нем единственную фигуру, заслуживающую серьезного интереса, доказывал этим свое собственное глубокое понимание поэзии и собственную

²⁶ Там же, с. 403. «Когда он также в другой раз был сильно навеселе» (нем.).

²⁷ Берков П. Н. Ломоносов и литературная полемика его времени, с. 62.

²⁸ «Мне нужны только три книги: „Реторика“ Никола Коссена, „История России“ Петра Петрея и Гюнтер. . . Прошу напоследок прислать мне хотя бы три названные книги» (нем.).

прикосновенность к самой ранней форме немецкого Sturm und Drang'a.

Писал ли Ломоносов в Германии в духе *главных* тенденций поэзии Гюнтера? Это менее всего вероятно. Скорее допустимо предположение, что по-немецки Ломоносов мог в эти годы написать забавную оду или лирическое стихотворение (вероятно, так оно и было). Но по-русски вряд ли. Без преднайденного запаса выработанных словосочетаний, синтаксических схем, без выработанного словаря значительная, серьезная лирика на русском языке была в 1737—1740 гг. неосуществима даже для гения. Вернее всего, что сохраненные в «Письме» 1739 г. и «Риторике» отрывки правильно представляют характер ранней лирики Ломоносова. Так как эти отрывки недавно собраны и пояснены (в общем, правильно) П. Н. Берковым,²⁹ мы ограничимся краткими замечаниями.

Известный отрывок «На восходе солнце как зардится...» П. Н. Берков неопределенно (и неверно) считает отрывком из «какого-то произведения символического характера». Это недоразумение. Если помнить, что позднее, переводя для «Риторики» отрывок из «Метаморфоз», в том числе и школьно известное начало всемирного потопа, Ломоносов избегает античных названий ветров и вместо Нота пишет «Юг»:

...madidis Notus evolat alis³⁰

Уже Юг влажными крылами вылетает...

и не иначе поступил уже для первой «Риторики» 1744 г. (см. § 50):

Высокий кедров верх внезапный Юг нагнул,

то становится ясно, что и в нашем отрывке «Восток» и «Север» — не страны и даже не части горизонта, а ветры, Евр и Борей. Впрочем, это ясно уже из слов о Востоке («пресильному вод морских возбудителю»). Со стихом:

Вылетает вспылчиво хищный Восток...

ср. в только что приведенном стихе о Ноте тот же ветровой овидианский глагол «вылетает». Чисто овидианским является и эпитет «хищный»: о ветре у Овидия постоянно гарах («хищный» здесь латинизм: «похищающий» от гарю). Отрывок совершенно ясен: на заре Евр нападает на Борей, ударяет в него углом («в бок»), побеждает и осыпается единственным властелином южного океана. Возможно, что отрывок просто переведен из Овидия (хотя в «Метаморфозах» мы не нашли точно соответствующего

²⁹ Там же, с. 64—65.

³⁰ Ovid. Met. I, 264.

эпизода) или из Сиция, Авзония и т. д.; во всяком случае, принципиально школьный, овидианский его характер ясен, даже если это свободная композиция на мотивы постоянных у римских поэтов конфликтов в роде ветров. Ломоносову нужно подставное, хотя и содержание для образца русских логоэдов; он берет его из школьно избитой тематической области. Отметим все же (оставляя даже метрическую сторону дела: первые в русской тонике логоэды, за полстолетия до державинских!), что здесь перед нами 1) зародыш будущих переводов из римлян для «Риторики», 2) первый у Ломоносова Борей, а так как впоследствии Борей сыграет громадную роль в системе одического календаря и одической метеорологии у Ломоносова (а затем во всей истории классической поэзии, вплоть до «Евгения Онегина»: «Вот Север, тучи пагоняя»), то в этом смысле (а также по мифологической грандиозности образов) прав П. Н. Берков, видя в отрывке предвестие будущего Ломоносова.

Прочие отрывки правильно объяснены П. Н. Берковым как обломки мадригалов, любовных песен, лирических идиллий и т. д., близких к «любвонной лирике немецких поэтов 1720—1730-х годов». Это можно было бы уточнить (ср., например, Миртилу Ломоносова с Филиреной, Альбиной, Филлидой Гюнтера), найти прототипы, но суть дела ясна. Надо бы только добавить, что немецкая галантная лирика начала века отчетливо делилась на маринистскую и «разумную»,³¹ и Ломоносов, конечно, примыкает только ко второй.

Итак, Ломоносов-студент отваживается подражать только закраинам немецкой поэзии. Самое близкое ему, самое реальное в его душе — драма интеллигентного плебея в княжески-дворянской стране русского выражения еще не нашла. Отметим еще, что некоторые сохранившиеся отрывки выводят нас отчетливо за пределы Гюнтера. Два гексаметра:

Счастлива красна была весна, все лето приятно,
Только мутился песок, лишь белая пена кипела,

кстати, поразительно зрелые по фактуре, указывают на немецкие опыты, а, может быть, на Готшеда. Но немецкий гекзаметр 1730-х гг. — это тоже закраины.

Уже по связи с Гюнтером и по всей совокупности немецкой литературной обстановки надо предположить, что эстетика Ломоносова была в те годы отчетливо антимаринистской. Но это можно точно доказать.

Гюнтер, сам силезец родом, снисходительнее других относится к силезским маринистам; иногда, из соображений локального патриотизма, он с почетом упоминает представителей бреславльского Парнаса. Но элементы их стиля он вводит только в одном единственном случае: в одах на бракосочетание. Причины понятны:

³¹ *Waldberg M.* Die galante Lyrik. Strassburg; London, 1885, S. 24—25.

путь новобрачных устилается пурпуром роз и серебром жасмина. Так, в оде 1713 г. «Der Frühling im Herbste in dem Garten der Liebe»

Der Hyacinthen Pracht verdunkelte Sapphir...
и т. д.

причем автор так ясно понимает происхождение этого стиля, что после долгой россыпи камней и расточения красок «жалеет, что он не Гофмансвальдау»:

Und klagte, dass ich doch kein Hofmannswaldau bin.³²

Замечательным образом единственный случай маринистского стиля и словаря у Ломоносова падает тоже на брачную оду 1745 г.; это изображение традиционного в брачной оде царства или сада любви:

...Меж бисерными облаками
Сияют злато и лазурь...
...Кристалльны горы окружают...
...Плоды кармином испещренны...
(I, с. 115)

Относительная допустимость колоризма (да и то с большим вкусом смягченного) в эпиталамической оде 1) снова подтверждает особое значение Гюнтера в сложении литературных взглядов Ломоносова, 2) подчеркивает недопустимость колоризма во всех других случаях, т. е. приводит нас к принципам школы разума. Действительно, даже в пасторальных строфах Ломоносов обыкновенно ограничивается Зефиром; ср. бросающаяся в глаза бедность, вернее, отсутствие красок в идиллии «Полидор» 1750 г. (I, с. 198—204). Даже в Царскосельской оде (1750), несмотря на благоприятствующие реалии, есть всего одна колористическая деталь:

Когда заря румяным оком
Багрянец умножает роз,
(I, с. 215)

не поддержанная в следующих стихах подбором других красок. Принципиальное совпадение в этом вопросе с Гюнтером так полно, что вывод становится неоспоримым.

На то же бракосочетание 1745 г. (в. кн. Петра Федоровича и в. кн. Екатерины Алексеевны) написал типично эпиталамическую оду и Ив. Голеневский; о ней П. Н. Берков неправильно го-

³² *Günther J. Ch. Der Sammlung...*, S. 97, 101. «Сапфир, затмевающий пышность гяцинтов... И я сожалею, что я все же не Гофмансвальдау» (нем.).

ворит, что она «выдержана вполне в духе Ломоносова».³³ Достаточно, однако, прочитать ее (хотя бы в отрывках, приводимых П. Н. Берковым), чтобы убедиться, что это не так. В строфике, плане, синтаксических фигурах Голеневский следует Ломоносову, но безудержная расточительность в камнях и красках, выстроенных, совершенно как у силезцев, целыми номинативными сериями, свидетельствует о том, что в противоположность Ломоносову, этот поэт был положительным образом связан с немецкими маринистами:

Сапфир, смарагд с ультрамарином
Сияет тамо с кармазином³⁴

и т. д.

Вообще, Голеневский — фигура еще не выясненная. И в других одах он предпочитает редкие слова (например, илектровый), что делает его как бы предшественником В. Петрова. Словарь его отзывается педантизмом греко-богословской школы. Но как это было связано с несомненными симпатиями к силезцам? Что означает эта связь? Каково вообще было место Голеневского в эти ранние годы классической оды? Расхождение (с Ломоносовым) в вопросах стиля, без сомнения, опиралось на какие-то принципиальные соображения.

На фоне всего выясненного (комбинацией прямых данных и косвенных наведений) становится отчетливым особое, не органическое происхождение обеих од, Фенелоновой и Хотинской. Значение последней этим нисколько не колеблется; для целого ряда важнейших тем будущего Ломоносова именно в ней заложено основание (баталистика, Петр, инвективы, одические полемизмы и др.). И тем не менее обе оды не выражают целой стороны социально-литературного мировоззрения Ломоносова-студента, точь-в-точь так же, повторяем, как ода Гюнтера 1718 г., хоть самая талантливая из всех вообще немецких военно-придворных од, никак не была этапом в развитии Гюнтера. Именно потому Ломоносов и взял ее в образец.

Но есть возможность косвенным доводом подтвердить официально-особый, побочный характер Хотинской оды. Все положительные сопоставления с одой 1718 г. издавна и неоднократно сделаны; прибавить мы могли бы только нестоящие анализа детали; но одно отрицательное сопоставление поучительно. Обычную тему оды на победу: «теперь можно насладиться благами мира» — Ломоносов намечает едва: теперь безопасно путешествует купец, пастух безопасно гонит стадо и благодарен храброму солдату. Между тем у Гюнтера не только использована вытекающая из темы возможность жанровой картинки в забавном слоге, но целая строфа (21-я), недаром сразу прославившаяся за неслыханную литературную смелость, совершенно выпадает из стиля милитарно-политической оды. Предыдущие строфы о радо-

³³ Берков П. Н. Ломоносов и литературная полемика его времени, с. 74.

³⁴ Там же.

сти свидания с женой, о старце, роняющем от радости посох, и т. п. еще вполне абстрактны, — но вот сцена в таверне у простых людей: «весь стол наострил уши, все вслушиваются в рассказ Ганса, соседского сына. Ганс режет и ест за двоих, а в промежутке прочищает пивом горло. Братцы, говорит он, смотрите сюда! Пусть это будет Дунай (тут он пивом провел полосу на столе), отсюда мы атаковали, здесь стояли турки. Дело вышло жаркое, вам и не понять! Убей меня бог, но вы поверите мне и без клятв».³⁵ Ломоносов помнит эту строфу (его «пастух» идет от этого Ганса) и не может не помнить: мы точно знаем, какой шум она вызвала в тогдашней литературной Германии; между тем у него нет даже начаточной попытки развить «пастуха» в жанрово-бытовую картинку. Следовательно, Хотинская ода написана условно; автор помнит официальную ее цель, официального адресата (петербургскую Академию) и выдерживает официальный стиль. Это не мешает Ломоносову (как не помешает и позднее в гениальных одах 1740-х гг.) вложить в официальные формы целую систему национально-патриотических взглядов (о чем ниже), но эти взгляды, взгляды русского человека и великого русского общественного деятеля, конечно, ни в каком отношении не стояли к немецкой университетской и литературной обстановке. Особой и «условной» мы называем Хотинскую оду по соотношению тому плебейскому *Sturm und Drang*'у, социальные страсти которого остались у Ломоносова литературно невыраженными, но кипели в его молодой душе.

Не всегда Ломоносов был поэтом индустриализации, государственной мощи и научного строительства. У него была своя молодость. Своего «Вертера», «Разбойников» и «Кавказского пленника» он не написал. Поэтому только анализ косвенных данных позволяет открыть и осветить целый «гюнтеристский» период в его развитии. Гюнтеризм (своего рода вертеризм за полстолетия до «Вертера») был лучшим, значительнейшим явлением в печальной литературной жизни долессинговой Германии, отдаленным предвестием назревающего литературного переворота. Немецкое буржуазное литературоведение никогда не умело понять место Гюнтера; ему обыкновенно уделяется в компендиумах несколько абзацев, редко короткая глава; литература диссертаций почти обошла его; не собрано еще и не издано пристойным образом его литературное наследие. Это научное равнодушие, продолжение официального мнения современников о беспутном кутиле, растратившем попусту свои таланты, конечно, не случайно. Плебейский гений, сломленный неблагоприятной, уродливой обстановкой эпохи, был всегда не по душе немецким доцентам. И обратно: понимание, уважение и любовь к Гюнтеру нашего великого плебей Ломоносова глубоко и полно характеризует обоих.

³⁵ *Günther J. Ch.* Auf den zwischen ihre röm. kaysrll. Majestät und der Pforte 1718 geschlossenen Frieden. — В кн.: Ломоносов М. В. Соч., т. I, примеч., с. 68.

3. Ломоносов и петербургская немецкая ода

Итак, Ломоносов придет в Петербург вовсе не тем литератором, какой здесь нужен. Придет русский Гюнтер, а здесь нужен русский Бессер. Что у Ломоносова общего с академическими поэтами-немцами, с Юнкером и Штелиным? Только эстетика школы разума. В литературную психологию ее придворно-академического крыла ему падо войти, и пасколько это трудно, видно из явной слабости первой (совершенно официальной) оды, написанной в Петербурге (I, с. 24—31): неумелый синтаксис (после поразительно сильного языка Хотинской оды!), алогизмы («Иоаннов нектар пьет мой ум», хотя произносящей оду предполагается «Россия»), рифмы ниже минимума, псеудобный плап, который не удастся выдержать, петвердая словарная норма («пустить цветочки», «сдивиться», «деет»), — все это поражающим образом ниже даже самых слабых строф Хотинской оды. Недаром ода подымается в строфах 9—10 (подражающих Малербу) и особенно в строфах 16—17 (подражающих своей же Хотинской оде).

Что же дали петербургские немцы? Прежде всего навыки, относящиеся к придворно-официальной стороне оды и опиравшиеся на представление об оде как части *внелитературного* целого. Теоретически оно было для Ломоносова не ново; вся Европа (и тем более отсталая Германия) была насыщена этой, так сказать, эстетикой включения, по практически усвоить ее Ломоносов мог только в Петербурге. Техника поднесения оды, прочтение, учет театрального церемониала, частью которого она предназначена быть,³⁶ приспособление размеров оды, плана, стиля, слов к этой первичной ее функции, — все это знали Юнкер и Штелин (только это они и знали!) и теперь должен узнать Ломоносов. Роль учебника сыграли двуязычные оды (немецкий текст их и перевод его).

Далее, типичная для петербургской немецкой поэзии жанровая и метрическая узость. Два единственные ее жанра, ода и надпись, до конца останутся главными для Ломоносова; с 1743 г. начнется процесс расширения, появятся псалмы, натурфилософская ода, сама торжественная ода дифференцируется, но это уже будет история выхода Ломоносова за пределы той неширокой территории, которая у него с академическими немцами была общей. Что ж до метрики, то, за немногими исключениями, выхода не произойдет вовсе. Четырехстопный ямб, созданный Ломоносовым еще в Германии, укрепится, окончательно установится в роли метрического языка оды; но в этом нет ничего специально петербургского: связь оды с четырехстопным ямбом (у французов с восьмисложным стихом) была общеевропейским явлением (французского происхождения). Второй обычный у Ломоносова метр, александрийский стих, как будто теснее связан с петербургско-немецкой поэзией, потому что Штелин и др. постоянно

³⁶ Ср. блестящие замечания Г. А. Гуковского (*Гуковский Г. Очерки по истории русской литературы XVIII века. М.; Л., 1936, с. 13—14*).

употребляли его в надписях (точь-в-точь как Ломоносов), а также потому что первый у Ломоносова (а следовательно, первый на русском языке) александрийский стих появляется в оде 1742 г., переведенной из Юнкера (I, с. 63—85); но совершенно зрелая фактура стиха в этой оде доказывает, что до нас не дошли несомненно бывшие более ранние образцы александрийского стиха Ломоносова. Сложился этот стих вне всякого влияния Юнкера, а под общим влиянием всей немецкой стихотворной культуры, что особенно сказалось в правильном у Ломоносова решении вопроса о двух типах александрийского стиха. Более чем столетняя уже немецкая практика легализовала второй его тип, с ослабленной (дактилической) цезурой:

Durch deine Wachsamkeit, durch deine klugen Sorgen.³⁷
(I, с. 66)

Ломоносов в оде 1742 г. тоже свободно пишет:

И верность истинну и вольгу мысль в совете.
(I, с. 69)

Ничего специально Юнкерова здесь нет. У Юнкера на 280 стихов второму типу принадлежат около 40 (в цезуре слова вроде *Redlichkeit, Wissenschaft, sterblicher*³⁸), у Ломоносова (на те же 280 стихов) — только 25 (в цезуре слова: купечеству, с ревностью, весильного и т. п.). Соответствий нет, т. е. стих первого типа:

Dass sie beweglich sey, ob sie sich gleich verstärkt³⁹
(I, с. 76)

Ломоносов свободно переводит вторым:

Что склонна к милости, хотя полки крепит,
(I, с. 77)

и обратно. Несоответственны и сгущения (у Юнкера строфы 8, 9, 10, у Ломоносова — 23). Очевидно, Ломоносов задолго до 1742 г. пришел к твердым взглядам на природу русского александрийского стиха (в этом вопросе параллельного немецкому) и в переводе оды Юнкера только применяет эти взгляды. Правильность ломоносовского решения вопроса подтверждается всей дальнейшей историей александрийского стиха (Сумароков, Херасков, Пушкин и др.); любопытный вопрос, можно ли построить определенную кривую соотношения обоих типов, принадлежит общей истории русского стиха.

³⁷ «Твоею бодростью, твоими мудрыми заботами» (нем.).

³⁸ «Честность, наука, смертный» (нем.).

³⁹ «Что она подвижна, хотя вместе с тем и крепка» (нем.).

Переходя к главному вопросу о размерах возможного влияния петербургско-немецкой поэзии на тематику Ломоносова, заранее оговариваемся, что пока немецкий материал не собран, возможен только приступ к исследованию. Как раз для тематики нужен весь материал. Просмотр доступной нам его части (отдельные издания од, «Материалы для истории имп. Академии наук», комментарии в академическом издании Ломоносова, «Сборник материалов для истории имп. Академии наук в XVIII веке» А. А. Куника и т. д.) привел нас к предварительному, но вполне вероятному выводу: серьезно считаться исследование должно с одним всего произведением немецкой музы на Неве, с известной нам уже одой Юнкера 1742 г. Все прочие академические произведения дают ряд деталей, иногда близких к тематическим деталям у Ломоносова, но эти детали всегда оказываются общими всей европейской классической оде. Так, например, Академия в 1732 г. пишет на приезд Анны Иоанновны: *quam ingeniose noctes etiam laetissimis diebus fuerint adiectae... armorum terribili fragore in solemnem laetitiam converso*;⁴⁰ у Ломоносова тоже неоднократно огни фейерверка ночь превращают в день и гром артиллерийского Марса возвещает столичное торжество. Но то и другое входило в обязательный арсенал столичной оды, которая всегда и всюду, в Париже Малерба, в Лондоне Драйдена и в Амстердаме ван-Вонделя, была условно-официальной летописью столичной жизни. Ломоносов как поэт фейерверков и пальбы выполняет это обязательство, как до него и при нем выполняли его (только без таланта) немцы; здесь тематическое сходство объясняется одинаковостью академического положения и родственностью (самой общей и широкой) литературных взглядов на функцию оды. В оде 1736 г. Юнкер пишет:

Das unerschöpfte Russenreich
Empfindt nunmehr die gülden Zeiten.⁴¹

Это похоже на «золотой настал России век», частое у Ломоносова. Но «золотой век» был общим местом всякой комплиментарной оды. Для такого рода общих мест (особенно в стихотворном объяснении эмблем и в иллюминационных надписях) можно допустить известное влияние выработанных академическими поэтами шаблонов, но сами эти шаблоны сложились из элементов общеевропейской, Ломоносову и без того прекрасно известной, придворной культуры. Скандальная преувеличенность похвал (у Ломоносова, кстати, заметная только в первых петербургских одах)

⁴⁰ Материалы для истории имп. Академии наук, т. II, с. 99, № 117. «Как остроумно даже и ночи служили продолжением радостных дней... так как страшный гул орудий превратился в торжественную радость» (лат.).

⁴¹ Материалы для истории имп. Академии наук, т. VI, с. 423. (Миллер Г. Ф. История Академии наук). «Неистощимая Российская держава переживает отныне золотое время» (нем.).

Тоже не была специально петербургским явлением; «героизмом лести» (слова Гегеля) отравлена вся классическая ода; авторы ее возводили себя к Пиндару (которого на деле, после Ронсара, не читал никто), но действительным учителем комплиментарной оды был, из древних, автор «Панегирика Траяну» Плиний Младший.

Остается, повторяем, ода Юнкера 1742 г. лучшее произведение Юнкера, лучшее и единственное талантливое произведение во всем стихотворном наследии петербургской немецкой поэзии. Недаром в Академии наук эта ода долго считалась образцовой. Штриттер (продолжатель Миллеровой истории Академии наук), описывая торжественное заседание Академии наук 29 апреля 1742 г. по случаю коронации Елизаветы Петровны и пересказывая содержание выпущенной по этому случаю программы академических торжеств, об этой оде Юнкера говорит так: *... das Gedicht des H. Juncker. . . welches an Schönheit seine übrigen Gedichte übertreffen soll*⁴² (= «по общему мнению превосходящее»), следовательно, ссылается на установившуюся оценку. Миллер помнит оду Юнкера еще через 16 лет и собирается в 1758 г. послать в Кенигсберг Боку, как лучший образец петербургской немецкой поэзии, «ein Gedicht des seligen H. Juncker. . . welches er den 29 April 1742 in einer öffentlichen Versammlung der Academie abgelesen».⁴³ Итак, через 16 лет после прочтения оды и через 12 лет после смерти автора в академических кругах еще жива память об *opus magnum*⁴⁴ Юнкера. Ниже мы увидим, что эти слова объясняются не одними ее литературными достоинствами (были и более серьезные причины), но и литературно ода 1742 г. Юнкеру удалась; сам Готшед не написал бы лучше. И вот, некоторые темы этой оды сыграли известную роль в тематическом сложении поэзии Ломоносова. Во-первых, формула протяжения России.

У силлабиков мы не нашли ее ни разу. Тредиаковский в парижской оде 1728 г. исчисляет все «славы» России, упоминает даже здоровый климат и единоверие, но о протяжении не говорит ни слова: очевидно, то, что нам теперь кажется общим местом оды, родилось вовсе не сразу и не само собой, а сложным путем тематического развития. Нет протяжения России и в первых одах Тредиаковского после приезда из Парижа, коронационной 1730 г., новогодней 1732 г. и Гданской 1734 г. Есть намек на эту тему в его оде 1742 г.:

О честь Европска и Азийска.⁴⁵

⁴² Там же, с. 550. «Стихотворение г. Юнкера. . . которое, как говорят, красотой превосходит прочие его стихотворения» (нем.).

⁴³ Ломоносов М. В. Соч., т. II, примеч., с. 216 (цитата Сухомлинова из ненапечатанных бумаг Миллера). «Стихотворение покойного г. Юнкера. . . которое было им прочитано 29 апреля 1742 г. на публичном заседании Академии» (нем.).

⁴⁴ «Великое сочинение» (лат.).

⁴⁵ Тредиаковский В. К. Соч. СПб., 1849, т. I, с. 294.

но эта ода, написанная уже под влиянием Ломоносова, не идет в счет.

В Хотинской оде есть у Ломоносова формула четырех стран света:

Чрез нас предел наш стал широк
На север, запад и восток.
На юге Анна торжествует...

(I, с. 16)

Есть столь частая впоследствии формула севера («страны пол-ночной героиня») и даже формула восточных границ (правда, не территории, а славы: «в Китайских чтут ее стенах»), но знаменитой синтаксической формулы «от — до» в Хотинской оде, примечательным образом, нет. Появится она впервые только в Петербурге, в 1741 г. в упоминавшейся выше неудачной оде:

От теплых уж берегов Азийских
Вселенной часть до вод Балтийских
В объятьи вашем вся лежит,

(I, с. 25)

как прямое, по-видимому, заимствование из общего фонда европейской оды, для которой формула эта давно уже была привычным элементом то придворного комплиментирования, то национально-патриотической гордости. Например, у Малерба (в стансах 1615 г.):

Voyez des bords de Loire et des bords de Garonne,
Jusques à ce rivage où Thétis se couronne,⁴⁶

и т. д. По особенностям политической географии Германии немецкая ода могла применять эту формулу не к протяжению территории, а к «пределам славы», например:

Er, der vom Tagus bis zum Phrat
Der Prinzen Schmuck und Ehre worden,⁴⁷

но как только Готшеду пришлось писать оду на русскую тему, известную оду на смерть Петра Великого, формула сразу ярко ожила:

Und Moscau macht ein Freuden-Fest
Das sich vom Eismeer an bis Derbent spüren lässt.⁴⁸

⁴⁶ *Malherbe F. Poésies. Paris, 1757, p. 245.* «Взгляни на берега Луары и берега Гаронны, Вплоть до побережья, где увенчана Фетида» (*франц.*).

⁴⁷ *Oden der deutschen Gesellschaft in Leipzig. Hrsg. von J. Ch. Gottsched. Lpz., 1728, S. 36.* «Он, кто от Тахо до Евфрата Стал краскою и честью государей» (*нем.*).

⁴⁸ Там же, с. 33. «И Москва справляет торжество, Которое чувствуется от полярного моря до Дербента» (*нем.*).

Наконец-то немецкая ода нашла страну с географией, благоприятствующей территориальному комплиментированию! Юнкер в оде 1742 г. уверенно и развернуто пишет (быть может, не без влияния этой оды Готшеда):

Dies ist der Wunsch vom Belt bis zum Japaner-Meer,
Von der Hircaner-See bis, von der weisse Bär
Den Eisberg übersteigt, am äussersten der Erden,⁴⁹

(I, с. 82)

а Ломоносов переводит:

Желая то гласят берега Балтийских вод,
До толь где кажет свой японцам солнце восход;
И от Каспийских волн до гор, где мраз насильный...

(I, с. 83)

Не Юнкер подсказал эту формулу; мы только что видели, что уже в 1741 г. Ломоносов ее применил; она была общеевропейской; ходячим был и синтаксический ее механизм (de ... à, von ... bis). Ода Юнкера могла здесь только утвердить Ломоносова в понимании политико-литературной значительности этой империальной формулы. Дальнейшая ее история — у самого Ломоносова, у его учеников, у Державина, у архаистов, у Вяземского (хотя он в 1831 г., забыв свои же стихи, а заодно совершенно не поняв Пушкина, либерально протестовал против «географических фанфаронад»), до великолепно развернутого ее применения у Пушкина («от финских хладных скал...»), до «Спора» Лермонтова («От Урала до Дуная...»), — история эта очень сложна и в целом представляет превращение комплиментарного общего места в серьезный элемент русской политической поэзии. Замечательно, что Сумароков и его школа, Карамзин и карамзинисты не прибегают к ней в тех вообще редких случаях, когда им приходилось писать оды: очевидно, она неотделима от ломоносовского стиля. Пушкин в 1831 г. обращается к ней именно как к жанрово-политическому ломоносовскому сигналу. Этот сигнальный смысл утвердился уже в XVIII в., что видно из (дилетантской) оды Шувалова на смерть Ломоносова:

Des confins du Sarmate aux climats de l'Aurore,
Où renaît chaque jour l'Astre que l'on adore,
Des rochers du Caucase aux limites du Nord...⁵⁰

тем более что вся ода Шувалова написана строфой новой (Ж. Б. Руссо и Вольтера) и языком модернизированной (вольте-

⁴⁹ «Таково желание — от Балтийского до Японского моря, От Каспийского моря вплоть до того [места], где белый медведь перебирается через ледяные горы, на краю земли» (нем.).

⁵⁰ Куник А. А. Сборник материалов..., ч. 1, с. 206. «От границ сармата до областей Авроры, Где каждый день возрождается звезда, которой воздают почести; От скал Кавказа до крайних пределов севера...» (франц.).

ровой) оды. Итак, для русской поэзии формула «от — до» осталась сигнатурой национально-государственной темы Ломоносова.

Гораздо важнее роль юнкеровой оды в сложении той темы Ломоносова, которая развернется позднее в образ Фелицы у Державина. Зародыш этой темы есть в оде 1742 г., в которой Юнкер последовал давней традиции немецкой оды (восходящей к Малербу) эротически окрашивать одический комплимент, если адресат — женщина. Это было настолько в духе придворной оды, что уже в прошлом (1741) году Штелин писал:

Die Schönheit, dein geringstes Teil
Wird mit Bewundrung zwar erblicket,⁵¹

(I, с. 44)

и уверял, что и до переворота прирожденное величество Елизаветы видно было:

Aus Bildung (=осанка), Gang, Gesicht und Wesen,⁵²

(I, с. 44)

что Ломоносов перевел, еще более развернув эротический характер комплимента:

На полном благ лице твоём
И велепном купно теле.

(I, с. 45)

Юнкер в оде 1742 г. поступает тоньше Штелина; он не просто называет красоту, а старается найти отличительную черту красоты Елизаветы; находит он «кротость» (*sanfte Freudigkeit, Milde*⁵³), «небесность» лика:

Aus deinem himmlischen der Welt geschenkten Bilde.⁵⁴

(I, с. 66)

Ломоносов переводит:

Как ясный солнца луч в немрачный утра час,
Так твой приятный взор отрадой светит в нас.
В тебе с величеством сияет к нам приятство

и т. д.

(I, с. 65, 67)

Дальнейшее развитие этого специально елизаветина варианта комплиментирования женщины на троне чрезвычайно сложно и

⁵¹ «Красота, хотя и малейшая тебя частица, Вызывает восхищение» (нем.).

⁵² «По виду, по поступи, по лицу и повадке» (нем.).

⁵³ «Тихая радость, кротость» (нем.).

⁵⁴ «Твоим небесным образом, дарованным миру» (нем.).

далеко выходит, уже у Ломоносова, за предел простого комплимента. Заметим, кстати, что известная дальнейшая игра значением имени Елизаветы («тишина») с немецкой поэзией, по-видимому, не связана: уже Сильвестр Медведев, опираясь на значение имени Софии («мудрость»), убеждает ее стать княгиней мудрости на Руси (т. е. открыть в Москве Академию). В формах комплиментирования поэты эпохи абсолютизма умели бороться за кровное для многих из них дело культуры. Ломоносов позднее разовьет эту борьбу до уровня основной и первенствующей темы своих будущих главных од. Отчасти так произойдет и с эротическим комплиментированием: много позже, в известном «Разговоре с Анакреоном» (1764 г. по условной датировке Сухомлинова), Ломоносов создаст из накопленного им же «елизаветина» материала образ женщины-России:

Огонь вложи в небесны очи
Горящих звезд в середине ночи...
Возвись сосцы, млеко обильны...
И полны живости уста
В беседе важность обещали
и т. д.

(II, с. 282—283)

Что Державин исходит из этого эротизированного образа «России» в своей трактовке (неоднократной) образа Фелицы, заметил уже Грот (в примечаниях к «Изображению Фелицы»). Из сказанного ясна и сложность истории этой темы, и общее направление этой истории: от зародыша, входившего составным элементом в тематический арсенал придворной оды (в данном случае оды Юнкера), — к сложному, исторически значительному образу большой обобщающей силы. От форм придворной оды к разрушению придворной оды — таков путь Ломоносова-одописца.

Попутно несколько слов о самом этом поразительном явлении комплиментирования. Дважды окрасило оно русскую классическую поэзию, в первый раз придя из Польши, а теперь, в 1730—1740-е гг., привезенное во всеоружии специальных учебников академиками-немцами. В западнорусской поэзии оно известно уже с конца XVI в. (см. первые острожские виршевые оды); в Киеве при Могиле, потом при Хмельницком и особенно при Мазепе комплиментирование расцвело в безобразно-уродливых формах под прямым влиянием польско-иезуитской культуры. Но теперь у петербургских пемцев дело поставлено «паучным» образом! Дело в том, что, несмотря на религиозную антипатию, иезуитская комплиментарная теория и практика имели в лютеранской Германии громадный успех, и притом не у силезских маринистов (представителей патрицианской бюргерской идеологии), а как раз в кругах, выдвинувших школу разума. Не кто иной, как Хр. Вайзе написал учебник «*Politischer Redner*» (1677), один из любопытнейших памятников социальной патологии; сама природа учит комплинтам; цветы раскрываются утром, при-

вѣтствующая восход солнца, своего повелителя, птицы в честь его начинают петь; железо движется, едва почувствовав влияние магнита; вообще *die ganze Welt ist voller Complimenten*,⁵⁵ а потому искусная лесть (*arguta adulatio*) — важная, нужная наука.⁵⁶ Так как книга Вайзе стала учебником, по которому Бессеры и Кениги изучали свое печальное ремесло, то естественно предположить, что она была в Петербурге на руках у Юнкера, ученика и последователя Кенига (ЗС, с. 178—179), и что в первые петербургские годы в нее приходилось заглядывать и Ломоносову при сочинении по необходимости чисто комплиментарных од (впрочем, даже в этих раннепетербургских одах Ломоносов всегда перерастает рамки комплиментирования). Возможно, что первая петербургская ода 1741 г. (I, с. 24—31), решающая абсурдную задачу прославления ребенка (Ивана Антоновича), написана с помощью какого-нибудь параграфа книги Вайзе, разъяснявшего, как быть в тех затруднительных случаях, когда приходится комплиментировать лицо без заслуг и даже без возможности заслуг, например знатного новорожденного.

Все вышеизложенное направлено к определению связи между немецко-петербургской одой, особенно одой Юнкера 1742 г., и смертной, исторически непродуктивной, условий времени не перерастающей стороной раннепетербургского Ломоносова. Чтобы измерить гениальность Ломоносова, всегда полезно представить себе то, что ему суждено было перерастить, т. е. ту литературную обстановку, которая создана была петербургским филиалом немецкой буалоистской придворной оды.

Но была в юнкеровой оде одна тема, восприятие которой стало для Ломоносова исторически продуктивным зародышем важной линии его будущего развития.

4. Экономизм и приглашенные Музы

Комплиментирование было политическим фактом, т. е. вопреки поговорке того века: *un complimenteur est un accompli menteur*,⁵⁷ не всегда было ложью, а когда было ложью, то и ложь эта тоже что-то политически означала, например, порабощенность бюргерской интеллигенции. В этом случае комплиментирование превращалось в явление социальной патологии, иногда беспримерно одиозной, — беспримерно в новой Европе: предками комплиментаторов эпохи абсолютизма были *adulatores*⁵⁸ позднего

⁵⁵ «Весь мир исполнен комплиментов» (нем.).

⁵⁶ Пересказываем по упоминавшейся выше книге Боринского о Грасиане. (*Borinski K. Baltasar Gracian und die Hofliteratur in Deutschland*, S. 130). Серьезная история придворной оды, особенно немецкой, невозможна без исследования всей этой литературы «учебников лести». Они были патологической побочной ветвью всей абсолютистской культуры, уродливым сопровождением трактатов Грасиана и «Аргениды» Баркляя.

⁵⁷ «Любитель говорить комплименты — совершенный лжец» (франц.).

⁵⁸ «Лъстецы» (лат.).

Императорского Рима. Но именно вследствие политического характера всего явления, оно значительнее, сложнее, чем то, что покрывается прямолинейно упрекающими терминами (ложь, сервизм, лесть). В формах комплиментирования могла происходить и действительно происходила политическая борьба. Относительно Ломоносова позднейших лет это несомненно: Елизавете Ломоносов будет упорно приписывать большую индустриальную и научно-техническую программу, настолько величественную по прозорливости мысли, пронзающей века, что мы сейчас справедливо считаем себя, племя социализма, ее осуществителями. И эту программу научного руководства беспредельно развивающейся цивилизацией:

Где нет ни правил ни закону,
Премудрость тамо зиждет храм —

(I, с. 151)

Ломоносов принужден будет связать с именем веселой и малограмотной помещицы Елизаветы! Специалист говорит о «параллелизме правительственного внимания к дворянству и буржуазии» в царствование Елизаветы;⁵⁹ оды Ломоносова, ни единым словом не откликающиеся на интересы дворянства, восторженно поющие научно-индустриальное развитие страны (уж, конечно, не с точки зрения интересов заводчиков), были, следовательно, в комплиментарных жанровых формах явлением глубоко оппозиционным. В происхождении своем они, конечно, связаны с «большим хозяйственным оживлением» в 1740—1750-е гг.,⁶⁰ но настолько и так гениально перерастают его масштабы, что было бы абсурдно видеть в оде 1747 г. литературное выражение промышленной или горнозаводской деятельности правительства. Другой пример. Та же ода 1747 г. поет «тишину» и, в условиях комплиментирования, настойчиво приписывает Елизавете отвращение к войнам. Казалось бы, ясно: Ломоносов славит царицу за мирную ее политику, которой он сочувствует. Между тем это совсем не так. В 1747 г. опасность войны (и притом ненужной), вызванная переговорами о помощи так называемым морским державам, была весьма реальной;⁶¹ Ломоносов, упреждая несостоявшееся еще решение правительства, от имени Елизаветы (фикция) вмешивается в политическую борьбу эпохи и блестяще излагает программу мира — свою собственную (реальность). Такой глубокий историк эпохи, как С. М. Соловьев, умел прекрасно это понять. Так как пужно полное знание политических обстоятельств времени, чтобы разобраться в действительном, часто

⁵⁹ Любомиров П. Г. Крепостная Россия XVII—XVIII вв. — В кн.: Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат. Изд. 7-е. М., [1910]—1948, т. 36, ч. 3 (1934), с. 595.

⁶⁰ Там же, с. 596.

⁶¹ Подробности сложного положения тогдашних дел в Европе и объяснение политического смысла оды Ломоносова см. в кн.: Соловьев С. История России с древнейших времен. М., 1872, т. 22, гл. 5, с. 307—308.

весьма не официальном смысле самых официальных од, и так как историки поэзии таким полным знанием, естественно, не обладают, то настоящей истории европейской и русской оды эпохи абсолютизма в науке еще нет. Через всю историю этой оды как раз и проходит одно основное, ведущее противоречие между комплиментарностью жанра и реальным политическим содержанием каждой оды в отдельности. Не знала этого противоречия одна лишь вульгарная комплиментарная ода, ода Бессера и Кенига в Германии, Юнкера и Штелина в Петербурге. Тем более интересно, что среди нескольких десятков вульгарных од петербургско-немецких поэтов есть одна ода с действительно программным политическим содержанием, и притом настолько серьезным, что оно могло стать зародышем одной из важнейших концепций самого Ломоносова.

Вся ода Юнкера 1742 г. проповедует законченную систему взглядов на экономическую жизнь страны и значение в ней торговли. Надо объявить свободную внутреннюю торговлю, усилить внутренний обмен, обезопасить пути, бороться с дискредитирующей Россию практикой торгового обмана иностранцев; торговля — кровообращение государства:

Und Handlung (=Handel) ist im Staat das, was im Leib das Leben.⁶²
(I, с. 80)

Взгляды эти несколько не были оригинальны, но они не были и беспартийны. Ученые иностранцы в России были люди без помещичьих связей; специальность связывала их не с аграрными, а с правительственно-промышленными интересами, обслуживать которые они должны были в первую очередь. Сам Юнкер недавно, в 1739 г., был командирован в Германию для осмотра соляных заводов, во Фрейберге ознакомился с рудным делом и там, кстати, встретился со студентом Ломоносовым, которому поручил перевести свою докладную записку о соляном деле. Вообще, основное назначение Академии наук (научное руководство индустриальной, а не аграрной экономикой страны) создавало предпосылки для технического и меркантилистского пафоса академической оды. Так было и в Германии самой. В одах школы разума часто мелькают строфы с производственной и технической тематикой. Пример из Кенига, учителя Юнкера:

Fast alles ist erfüllt vom Berg — und Arbeitsleuten;
Hier räumt und trägt man Holz, dort Stein und Grauss zur Seiten,
Da brennt, hier löscht man Kalk; da gräbt man in den Grund...
Dein Land (Саксония) erfindet jetzt so echten Porzellan
Dergleichen Indien nicht zu uns senden kann.⁶³

⁶² «И торговля в государстве — то, что в теле — жизнь» (нем.).

⁶³ *König J. U. Gedichte. Dresden, 1745, S. 24.* «Почти все заполнено множеством рудокопов и работников; Здесь очищают бревна, там относят в сторону камень и щебень, Там жгут, тут гасят известь; там роются в земле... Твоя страна изобретает ныне настоящий фарфор, Подобного которому не может прислать нам Индия» (нем.).

И это пишет не академический, а чисто придворный поэт! Обследование университетского крыла школы разума (Кенигсберг, Галле, Иена и т. д.) обнаружило бы, вероятно, немало экономических од. Ничто так не характеризует бездарность и комплиментарное приниженное раболепие петербургско-немецких поэтов, как их неумение стать академическими поэтами научной работы своей же Академии. Единственное исключение — изучаемая нами ода.

Итак, Юнкер поддерживает этой одой одну из возможных, определенную, с другими несовместимую тенденцию правительственной политики, и притом как раз не дворянскую. Так как в 1742 г. еще совсем не ясно, какова будет хозяйственная политика нового правительства, то Академия могла думать, что она находится в состоянии обороны. Отсюда необходимость объяснительной самозащиты, апологии наук, осложненной, для немцев, апологией иностранных индустриализаторов. По естественной связи с совершенно привычной в эпоху классицизма концепцией странствующих Муз (см. знаменитую оду Ронсара Лопиталю) это дает в оде Юнкера лучшие ее строфы, посвященные апологии приезжих Муз-наук. Как раз эти строфы лучше всего перевел и Ломоносов.

Известны будут нам науки все тобой...
Чрез оны человек приходит к совершенству...
Без них мы мрачны как нечищенный алмаз...

Науки вступают с пригласившим их государством в договор; за покровительство они обещают обогащение:

Кто им добро чинит воздать те могут все
И делом кажет нам их свет лице свое.

(I, с. 79)

Кто их ненавидит, тот не монарх, а тиран; монарх их чтит, потому что видит государственную выгоду:

... und wo sie sicher wohnen,
Sind sie der Länder Glück, sind sie die Zier der Kronen.⁶⁴

(I, с. 78)

Но для того, чтобы острый и точный политический смысл оды Юнкера был ясен до конца, надо иметь в виду одно обстоятельство, относящееся к истории европейских поэтических стилей.

Неоднократно говорили и говорят об абстрактности и генеральности слова в классической поэзии. Но ведь это не совсем так. Приметой классического стиля является, скорее, парадоксальное соединение крайней общности с крайней же бытовой

⁶⁴ «... и где они безопасно живут, Они — благополучие страны, они — украшение короны» (нем.)

единичностью. «Молчите, пламенные звуки, — и колебать престаньте свет» переводится: пусть умолкнут артиллерийские орудия. «Санктпетербург... — не может и пространным зданием — вместить в себе утеху всю, — но мечет вверх огни горящи — и в самых облаках светящи»: в добавление к иллюминации сожжен был фейерверк. «Плеск»: аплодисменты публики удачному фейерверку. «Верхи Парнасски восстали»: академиками овладело уныние. «И Музы воплем провождали...»: приглашенные, но еще не приехавшие в Россию академики оплакивают смерть Петра. «Парнас»: Академия наук, стоящая на Васильевском Острове. «Новый Парнас, воздвигшийся в Москве»: Университет.

Это не единство общего и единичного, а (в пределе) полное их неразличение, крайний случай догматического мышления эпохи.

Если иметь в виду эту особенность классического стиля, станет ясно, что ода Юнкера представляет вовсе не нейтральное прославление наук, а политическое выступление Академии: «науки», обогащающие гостеприимную к ним страну, это они сами, академики. В 1742 г. можно ожидать реакции, дворянской и церковной. Национальной реакции и ожидать не нужно: она уже произошла в прошлом году, когда весь русский народ, в здоровом чувстве негодования против немецких авантюристов, командовавших им, поддержал эту сторону переворота. Но можно опасаться националистического осложнения в этом мощном пробуждении народного чувства; если это произойдет, то вместе с брауншвейгскими титулованными прохвостами сметена будет группа (численно ничтожная и, после переворота, бессильная) приезжих ученых, большинство которых сознавали (и совершенно справедливо), что они даром русский хлеб не едят. Ода Юнкера хочет провести это размежевание, отделить академиков от Анны Леопольдовны и Аптона-Ульриха и связать их пребывание в стране с универсальным делом разума и Муз. Юнкер хочет в первые же месяцы нового царствования (коронация состоялась ровно через 5 месяцев после ноябрьского переворота 1741 г.) напомнить о выгодах старого курса отношений правительства к Академии, оживить пафос петровского наследия, использовать происхождение Елизаветы для проведения прямой политической линии от отца к дочери:

Giebst Vorschub mit Bedacht, wie ihn dein Vater gab.⁶⁵

(I, с. 80)

Ты помощь в том даешь, как сам родитель твой.

(I, с. 81)

Впрочем, первым сделал это Новгородский архиепископ Амвросий в прощлогодней еще проповеди на день рождения Елизаветы

⁶⁵ «Ты подаешь помощь с умом, как делал твой отец» (нем.).

(18 декабря 1741 г., т. е. через три недели после переворота). Он даже, говорит Соловьев, «этой проповедью ввел в обыкновение начинать прославление Елизаветы прославлением Петра».⁶⁶ Кстати, план и содержание оды Ломоносова 1747 г. (введение Петра, как второго героя, в оду, адресованную Елизавете) связаны, весьма вероятно, с этим установившимся обыкновением.

Итак, не зная еще, как разовьется политика нового правительства, будет ли она только помещичьей или также и производственно-бюргерской, коснется ли ученых немцев всеобщая ненависть к правительственным немцам, возродятся или нет обширные индустриальные планы Петра, Юнкер выступает с одой, в комплиментарных формах совершенно, однако, принципиальной. Он навязывает Елизавете наследие Петра, предупреждая еще невыяснившееся направление правительственной политики, ведя, следовательно, принципиальную борьбу, хоть и с фразеологией покорной монархической лояльности. Весьма возможно, что вся эта ода была написана по поручению целой группы академиков, была, быть может, обдумана или обсуждена коллективно. Многое было бы яснее, если бы мемуарист передал нам беседы, которые велись в латинском квартале на Васильевском острове зимой и ранней весной 1741—1742 гг.; яснее было бы и то, почему Ломоносов переводит (и так хорошо переводит) эту оду. Вряд ли только по обязанности. Великий русский патриот, преданный высшему идеалу будущей научно-цивилизированной России, сам в 1742 г. отделяет нужных России людей труда и науки от международных проходимцев, профессионалов политического авантюризма. Он сам, в этом смысле, принадлежит академической партии. И профессия и участие в общеевропейской научной жизни и общеевропейская научная латынь, на которой он будет писать и, главное, отсутствие помещичьих связей включает его в партию Муз. Даже через 5 лет, в 1747 г., Ломоносов сочтет преждевременным расстаться с иностранными учеными:

О вы, которых ожидает. . .

(I, с. 152)

Еще ожидает, — следовательно, рано отбрасывать тех, «каких зовет от стран чужих». Тем более в 1742 г. он думал так же. Эта правильная точка зрения стала разделяться и правительством, для чего были очень серьезные основания. Исследование П. Г. Любомирова⁶⁷ поколебало традиционный взгляд на царствование Елизаветы как на эпоху помещичьей реакции и только. Любомиров показал, как серьезен был рост русской промышленности за Елизаветино двадцатилетие (100 новых металлургических заводов на 65 созданных до 1742 г.; 20 стёкольных и хру-

⁶⁶ Соловьев С. История России с древнейших времен. М., 1871, т. 21, гл. 2, с. 180.

⁶⁷ Любомиров П. Г. Крепостная Россия XVII—XVIII вв., с. 586 и след.

стальных заводов на 2 всего старых; всего около 700 предприятий к 1762 г. на 200 с лишним к 1742 г., и т. д.);⁶⁸ втрое вырос годовой торговый оборот,⁶⁹ свыше чем втрое объем крупной промышленности. Только на основе этих фактов можно понять работу Академии наук в 1740—1750-е гг.; в стране одной лишь дворянско-церковной реакции Академия просто отмерла бы; между тем как раз при Елизавете начинается блестящий период ее истории. Реальный смысл получает и тематика лучших од Ломоносова и в особенности гениальной оды 1747 г. При таком явном хозяйственном подъеме страны правительство принуждено принять программу оды Юнкера (быть может, эта ода реально повлияла на правительственные круги, — недаром, как мы видели выше, в Академии ее так долго помнили). Академикам не чинится никаких особых стеснений, — во всяком случае, никаких стеснений за чужестранное происхождение (не пересказываем неоднократно излагавшихся фактов). Само экономическое развитие страны, учтенное правительством, привело к тому, что юнкеровы «Музы» не были «изгнаны», и Ломоносов не напрасно перевел его оду.

Не только перевел. Перевод этот дал ему несомненный зародыш одной из основных тем оды 1747 г.; здесь она будет гениально углублена, из эмпирического черновика станет великолепным образцом русской проблемной поэзии, но зародыш восходит к старому переводу. Ближе всего «черновик» подходит к будущему окончательному тексту в той своей строфе (27-й), которая развивает русский вариант общеклассической концепции странствующих Муз. Русский же вариант естественно подчеркивает неизмеримость территории, на которой им предстоит действовать, — «*Dein Reich ist recht für sie ein weiter Sammel-Platz*»; громадность предстоящей научной работы — «*Dort ist noch viel zu tun, da liegt noch mancher Schatz*»; упущенное веками невежества время — «*Das jene Zeit versäumt...*» с особым (естественным, когда дело идет о России) указанием на ископаемые богатства — «*...den die Natur verborgen*»⁷⁰ (I, с. 80). Ломоносов, здесь расходясь с оригиналом, развивает этот геологический намек, благодаря чему перевод этих четырех стихов настолько перерастает подлинник, что вплотную подходит к геологическим строфам оды 1747 г.:

Империя твоя пространный дом для них.
Коль много скрытых есть богатств в горах твоих!
Что прошлый век не знал, натура что таила,
То все откроет нам твоих стараний сила.

(I, с. 81)

⁶⁸ Там же, с. 614.

⁶⁹ Там же, с. 607.

⁷⁰ «Твое государство поистине есть для них обширное поле деятельности; Там многое еще предстоит совершить, там многие еще лежат сокровища, Что было упущено в то время... что природой было скрыто» (нем.).

Это, в сущности, мнимый перевод. Ломоносов не только развил, отталкиваясь от Юнкера, тему ископаемых богатств, но и создал в сжатом виде конспект самых патетических «рифейских» строф будущей своей оды:

1742

...просторный дом...
...для них
Коль много скрытых есть богатств...
То все откроет нам...

...натура что таила
...в горах твоих

1747

толикое земель пространство
...просторная твоя держава
...где Музам бег свой простирать
...богатство в оных потаенно
наукой будет откровенно
Коль многи смертным неизвестны
творит натура чудеса
в верхи Рифейски...

(I, с. 149—151)

Следовательно, каждое словосочетание в четырех стихах 1742 г. оказалось конспектом целой темы в оде 1747 г. Не забудет Ломоносов из оды 1742 г. и общей концепции странствующих Муз, но превратит ее из частной апологии приезжих ученых, элементарно у Юнкера развитой *pro domo sua*,⁷¹ в величественную картину будущей России, будущего отечества приглашенных когда-то Петром и нашедших здесь свою окончательную родину богинь науки и цивилизации.

Прежде чем расстаться с Юнкером, заметим, что его удачная ода 1742 г. предварена тоже своего рода черновиком, относящимся еще к 1733 г. (приехал он в Петербург в 1731 г.). В оде Кайзерлингу, новому президенту Академии, написанной длинным трохаическим стихом (ЗС, с. 183), впрочем, вяло и неталантливо, Юнкер уже намечает тему ненавидимых невеждами Муз:

Das was Neid und Uebermut ihnen vorzuwerfen pflegen,
Dass sie Ländern schädlich sind, ist so töricht wie verwegen,

прославивших Рим после своего изгнания из Греции:

Rom ward durch die Kunst zu Rom, und ist nie so hoch gewesen,
Als wie sie die Griechen floh und sich da den Sitz erlesen,

и ныне собирающихся просветить Россию:

Trifft des grossen Peters Ausspruch, nach des Himmels Schickung ein;
Wird einst ihre weite Wohnung in der Anna Nordreich seyn.⁷²

⁷¹ «В защиту себя» (лат.).

⁷² Есть отдельное издание (типография Академии наук, 1733 г.); см.: Материалы для истории имп. Академии наук, т. II, с. 342, 343 (№ 378). «То, что зависть и высокомерие имеют обыкновение ставить им в упрек... Что они причиняют вред государствам — столь же безумно, как и дерзко... Рим стал Римом благодаря искусству, и никогда не стоял так высоко, как когда они бежали от греков и там избрали себе местопребывание. Свершилось, по воле небес, реченное великим Петром — Станет отныне их дальнейшей обителью северное царство Анны» (нем.).

Сказано все это ещё неуклюже, метр выбран неудачно, корыстная просьба о покровительстве проглядывает слишком обнаженно, но, хоть и *неумело* и вульгарно, Юнкер выразил здесь в первый раз то, что талантливо и умно он выразит в 1742 г. и что Ломоносов в 1747 г. превратит в величественный русский вариант замечательного мифа классической поэзии, мифа о странствующем едином Разуме.

Возможно, что как-то соотносится петербургско-немецкой поэзии одна особенность трактовки темы «Россия» у Ломоносова. Он никогда не называет по имени населяющие ее народы, хотя неоднократно говорит о «многих» и о «разных» народах:

где многие народы тщатся...

(I, с. 187)

народы многие поя...

(II, с. 265)

согласно разные языки...

(I, с. 99)

но се различные языки...

(I, с. 133)

Точь-в-точь так же поступают немцы, например Штелин в 1755 г.:

Wo ist ein Volk, ein Land, ein Kaysertum, ein Reich...
Der so viel Völkerschaft in einer Macht vereint...⁷³

(II, примеч., с. 132)

Вряд ли здесь взаимовлияние (хотя напрашивается объяснение: немцы не знают, как вместить в немецкий стих башкиров и тунгусов, а Ломоносов механически им следует!) — это совпадение, происходящее из относительно единообразного взгляда на цивилизацию. Музам предстоит открыть этим народам единую науку. «Где нет ни правил ни закону — премудрость тамо зиждет храм». Этнографические различия и этнографический колоризм бледнеет перед этим цивилизаторским откровением единства разума. У немцев это черта психологии касты, цеха, ученой профессии; у Ломоносова — пафос универсального единства всечеловеческой науки. Иное дело империльный этнографизм Державина; ему нужен будет яркий перечень народов, этнографический каталог. Это отличие (типическим для классицизма образом) устоит и застынет. «Многие народы» станут сигналом ломоносовского

⁷³ «Где найдется такой народ, такая страна, такая держава, такое государство... Которое бы так много народов объединило под единой властью» (нем.).

стиля: «защитнице народов многих»,⁷⁴ а каталог — приметой державинской школы: «с секирой острой алеут, киргизец с луком напряженным»⁷⁵ (ранний Жуковский, 1799).

5. 0 надписи и титульных листах

Мы ограничимся несколькими словами к постановке вопроса — и не только потому, что материал немецких петербургских надписей еще не собран (в «Материалах для истории имп. Академии наук» и в комментариях Сухомлинова в его издании Ломоносова их собрано достаточно для предварительного хотя бы суждения); дело в том, что надпись в эпоху классицизма, т. е. в свое собственное время, вовсе не была тем печатным произведением, в виде которого она существует для нас. Надпись входила в архитектурно-театральное целое с девизом, эмблемой, декоративным сооружением (пирамида, обелиск, колонны), элементами аллегорической живописи и светового искусства; в отрыве от них, в печатном виде, она теряет свою художественную функцию и может быть понята лишь приблизительно и неотчетливо. Надпись, изготовленная Академией наук, была всегда пояснением аллегории. Поэтому серьезное изучение надписи возможно только в связи с историей петербургского придворно-эмблематического искусства. Вне этой общей истории анализ сведется к указанию на комплиментарность, а для Ломоносова — к указанию на связь между основными темами его надписей и его од. Но это как раз было бы анализом не надписи самой, во всей ее функциональной жизни, а одной лишь печатной ее проекции. Поэтому мы выскажем только несколько замечаний вводного характера.

Русская надпись имеет большую доломоносовскую историю. Ведь первые известные нам русские вирши (в Острожской библии 1581 г.) — это как раз надпись на герб, написанная по образцу польских, которые в свою очередь восходят к средневековым blazons.⁷⁶ Иного происхождения немецкая подпись, образец ломоносовский; она создана была иезуитами. Боринский называет испанца Ластанозу, автора первого учебника эмблем и девизов; в Германии Эккель (Eckhel), тоже иезуит, довел до совершенства эту poetische Hilfswissenschaft.⁷⁷ К концу века, накануне сложения придворной оды, упоминавшийся выше Хр. Вайзе издал большой трактат об эмблематических надписях (Weise Ch. De poesi hodiernorum Politicorum, sive de argutis inscriptionibus libri II. Jena, 1688); в нем целый отдел посвящен похвальной надписи (inscriptio per panegyricum).⁷⁸ Трактат этот в Петербурге

⁷⁴ Нартов А. А. Ода на всерадостное восшествие на престол... имп. Екатерины Алексеевны. СПб., [1762], с. [1].

⁷⁵ Жуковский В. А. Соч. Изд. 7-е. СПб., 1878, т. I, с. 13—14.

⁷⁶ «Гербы» (франц.).

⁷⁷ «Вспомогательная отрасль поэтики» (нем.).

⁷⁸ Borinski K. Baltasar Gracian und die Hofliteratur in Deutschland, S. 128.

был несомненно, и просмотр его, вероятно, установил бы источник многих эмблем и надписей Штелипа—Ломоносова. Боринский указывает далее на книгу Гереуса, единственную, о которой мы можем судить *de visu*. Изучение ее (ЗС, с. 171) не оставляет сомнения, что она (и, более чем вероятно, вышеупомянутые ей однотипные) была настоящим сивачником наших академических поэтов. Но, повторяем, изучение вопроса в отрыве текста от синтетического театрально-архитектурного целого было бы методологически неправильно и привело бы к скудным результатам, вроде того, что Ломоносов не создает для надписи новых тем, а воспроизводит сокращенно темы своих же од. Так, например, очевидно, что надпись 1751 г.:

Повсюду пыне мир возлюбленный цветет;
Лежит оружие, и с кровью слез не лет...

(I, с. 317)

представляет побочную, младшую параллель к теме тишины, теме, принадлежащей известным одам. Все это слишком очевидно, но несколько не решает вопроса и даже не пересекается с ним. Конечно, и надписью пользовался Ломоносов для политической борьбы, для давления на власть, для борьбы за свою научно-экономическую программу, — но ведь это только ослабленная параллель к такой же роли его од. Поэтому вне искусствоведческого исследования о стиле, функции и составе петербургского официального праздника (и надписи, как части его) анализ неизбежно будет лишен глубины.

Попутно хотелось бы оживить и ввести заново в научный оборот одно очень ценное замечание Боринского по смежному и родственному вопросу. Он первый обратил внимание на необходимость исследовать то странное на современный вкус искусство, которое всем известно по титульным листам книг XVII—XVIII вв. Боринский правильно говорит, что понимание той эстетической системы, которая была безмолвной основой титульной живописи той эпохи, поможет глубже понять литературную систему «политиков», как выражается он, классицизма, как стиля эпохи абсолютизма, сказали бы мы. Это искусство было тоже создано и лансировано иезуитами; они первые придумали «эти трудные для понимания, еле уловимые образы и странные инсценировки, этих невозможных дев без головы или с обращенной головой, царей, цариц и мудрецов в окружении чудовищ или иронических фигур, Аргусов, покрытых глазами, с подробным объяснением значения этих глаз на каждой части тела».⁷⁹ За иезуитской фазой титульного искусства последовала иная, строго классическая (о ней Боринский говорит вскользь), хорошо известная нам и по русским книгам XVIII в.: портики, колонны, Паллада, аллегории наук и искусств. Иезуитская патология

⁷⁹ Там же, с. 128—129.

устрачена; титульные листы скромны, фигуры стройны и благородны; на фоне архитектурного пейзажа, данного в детали-панеле, одна-две величавые фигуры, вокруг которых рассыпаны аллегорические атрибуты цивилизации. Один из первых русских образцов этого искусства можно видеть в латинских «Commentarii Academiae Petropolitanae», один из последних — в обоих томах сочинений Дмитриева (М., 1818), уже на самом кануне эпохи альманахов, оттеснившей в прошлое столетие развитие старой русской титульной живописи.

Боринский (1894) требует специального исследования всего этого вопроса. Появилось ли с тех пор таковое в западной науке, мы не знаем. Но позволим себе настоять на необходимости исследования русских титульных листов эпохи классицизма, исследования не описательного, а принципиального: что такое это искусство? какая эстетика им предположена? какова была его функция? какую систему взглядов оно было призвано пропагандировать? О иезуитских аллегориях Боринский говорит, что они были выражением *der absolutistischen Weltlehre*,⁸⁰ т. е. Грасиановой мудрости.⁸¹ Для нашей эпохи это уже не так. Здесь, по-видимому, пропагандируется единство теоретического разума и гражданского общества; мир закончен; он может и должен совершенствоваться, но развития, истории в нем нет; канон античности сохраняет свою единоспасающую силу; мудрость одинаково воплощена в непрерывно совершенствующемся общежитии людей и в разнообразно-едином откровении наук и искусств; сословия выражают различные идеи единой деятельности; они вечны, потому что восходят к той единственной разумности, от имени которой говорят мудрецы и поэты (басня Менения Агриппы). Аллегии (лиры, циркуль, венок, компас, свиток) выражают, следовательно, убежденность в окончательной разумности основ наличного общественного строя (единственного рационально возможного) и в правильности распределения его функций; они пропагандируют систему догматического (докритического, докантовского) понимания мира, т. е. мировоззрение эпохи абсолютизма, а заодно и политическую его мораль. Поэтому изучение титульной (и вообще всей аллегорической) живописи является важным дополнением к пониманию литературного стиля оды (и регулярной трагедии). Аллегорический титульный лист, как и иллюминационная надпись, есть тоже, в своем роде, младшая, дополнительная, параллель к оде. В «Лаокооне» Лессинг пронизательно заметил, что декоративно-описательной поэзии (Тассо) соответствует аллегорическая живопись. Он боролся с той и другой, потому что обе были выражением абсолютистской эстетики.

Для Ломоносова эта эстетика была не содержанием его развития, а исходным пунктом, от которого и против которого протекло его действительное будущее развитие.

⁸⁰ «Абсолютистское учение о мире» (нем.).

⁸¹ Там же, с. 128.

6. «Гремящий стихотворцев глас»

То же можно сказать о немецкой школе разума и петербургском ее филиале. Подробный анализ показал нам, что влияние петербургско-немецкой поэзии на Ломоносова выражается 1) в том, что у нее самой было общего с европейским классицизмом, например с Малербом (здесь, очевидно, Юнкер и Штелин не в счет); 2) в некоторых общеклассических явлениях, однако, особо резко выраженных у немцев (таковы, например, узость жанров и метрики, роль надписи и само представление о надписи, как самостоятельном жанре); 3) в вовлечении Ломоносова первых петербургских лет, от 1741 до 1743 г. (но не позже), в практику главного академического литературного жанра — комплиментарной оды. Но ода эта характеризует не продуктивное содержание его будущего развития, а то, от чего и против чего это развитие произойдет. Единственное действительно плодотворное, что Ломоносов получил от петербургской немецкой поэзии, это 4) некоторые темы оды Юнкера 1742 г., в особенности ее «экономизм» и связанную с ним концепцию странствующих Муз. Но и здесь нельзя забывать, что речь может идти лишь о тематическом зародыше. После 1743 г. Ломоносов изучит главных поэтов европейского классицизма, в особенности Малерба, и найдет у них такое глубокое развитие этих же тем, перед которым даже ода Юнкера 1742 г. окажется бледным отголоском. Абсолютная монархия могущественно когда-то способствовала экономическому развитию европейских стран, Франции в первую очередь. Поэтому вся классическая ода проникнута духом своего рода национального экономизма, а потому и апологией той «тишины» (*la paix*), которая нам памятна по оде Ломоносова 1747 г., но которая неотделима от всей европейской поэзии эпохи классицизма. Возможно, что начало этой оды полупереведено из Ронсара:

Diversement, o paix heureuse,
Tu es la garde vigoureuse
Des peuples et de leur cités.⁸²

Петербургские немецкие поэты были поздними (и запоздалыми) эпигонами тех действительно великих творцов (главным образом, французов), изучение которых покажет Ломоносову образцы *государственной* оды (хотя бы с фиктивным сохранением некоторых формул оды комплиментарной).

Анализ привел нас к границе нашего вопроса. Но непосредственно за этой границей пролегает вопрос о парении, т. е. той главной особенности ломоносовского стиля, которая не только не

⁸² *Ronsard P. Oeuvres complètes. T. 1—8. Paris, 1857—1867, t. 2, p. 34.* Подробнее, хоть тоже мимоходом, приходилось нам говорить по этому вопросу в работе «Ломоносов и Малерб» (*Пумпянский Л. В. Очерки по литературе первой половины XVIII века, с. 127—128*). «Различно, о отрядный мир, Ты служишь мощной стражей народов и их городов» (*франц.*).

связана с немцами (василеостровскими и дрезденскими), но прямо противоположна их эстетике. Мы подходим к самому важному во всей нашей работе вопросу.

В разное время Г. А. Гуковский дал несколько удачных описательных характеристик ломоносовского стиля: «...невероятные сочетания слов различных рядов значения, соединенные в картины без картинности»; «...получается как бы заумный язык, не в смысле небывалых слов, а в смысле небывалых сочетаний значений»;⁸³ «...стиль... рассчитанно сложный; самый язык до заумного великолепный, иррациональный...».⁸⁴ Но замечательным образом ни следа этого стиля мы не найдем в трех одах, переведенных из Штелина (1741), Юнкера (1742) и Бока (1758), и в надписях, переведенных из Штелина либо написанных в штелинском стиле. Возьмем несколько памятных примеров парящего стиля:

Крутит главой, звучит браздами,
И топчет бурными ногами
Прекрасной всадницей гордьясь.

(I, с. 216)

...Взнесись превыше молний, Муза.

(I, с. 86)

... Там кони бурными ногами
Взвивают к небу прах густой.

(I, с. 91)

... Ногами тучи попирает,
Угрюмы бури презирает,
Смеется скачущим волнам,

(I, с. 135)

и рядом с ними прочтем типичные стихи из двуязычных од. Чтобы уравнивать дальние, чтобы различие нельзя было отнести за счет особых условий, создаваемых александрийским стихом, возьмем четырехстопным ямбом написанную штелинскую оду 1741 г.:

Хоть высней красоте твоей
Довольно всяк, кто зрит, дивится,
Душевных лик твоих доброт
Краснее внешних всех красот...
Хоть имя б ты свое тайла,
Но наша б то любовь открыла.

(I, с. 45)

За полной ясностью вопроса дальнейшие цитаты излишни. Стиль немцев и парящий стиль — разные вещи. Ломоносовское парение

⁸³ Гуковский Г. Русская поэзия XVIII века. Л., 1927, с. 17.

⁸⁴ Гуковский Г. Очерки по истории русской литературы XVIII века, с. 14.

стоит вне пределов 1) петербургско-немецкой поэзии, 2) немецкой школы разума и даже 3) общеевропейского буалоизма.

Отсюда ясна коренная ошибка всей концепции Г. А. Гуковского, который «великолепием» того, что он удачно назвал «спектаклем императорского дворца», непосредственно объясняет «великолепие» ломоносовского стиля.⁸⁵ Но здесь игра двойным значением слова; в первом случае «великолепие» — это амфилады просторных комнат, сложный, театральный церемониал, люстры, наряды, цепь и гирлянды зажженных свечей; во втором — некоторое явление стихотворного стиля, «великолепное» лишь метафорически. Если бы Г. А. Гуковский был прав, то парящим стилем должны бы были писать как раз немцы, профессионалы придворной поэзии, а никак не Ломоносов, прикосновенный к ней лишь случайно, по необходимости, и лишь в первые петербургские годы. Между тем немцы строго следуют буалоистской директиве сдержанности, ясности и прозаичности языка. И не только в Петербурге. Так же, тем же принципиально-прозаическим языком писались придворные оды и в Берлине, и в Дрездене, и даже в «великолепной» Вене. Вопреки концепции Г. А. Гуковского придворным стилем был как раз стиль *terre à terre*.⁸⁶ Следовательно, парение не имеет ничего общего с придворной культурой.

Вообразим на минуту, что Ломоносов был бы учеником маринистов (каким действительно, хоть частично, был Ив. Голеневский). Тогда краски и камни, киноварь, бирюза и топазы расцвели бы его стихи. Было бы нетрудно (и тоже неверно) объяснить и этот его стиль из того же великолепного «спектакля императорского дворца» — между тем маринизм в Германии был типично бюргерским литературным явлением (ЗС, с. 160—166). Очевидно, функция парения гораздо сложнее (и значительнее), чем это представляется Г. А. Гуковскому.

Какова эта функция, может быть выяснено только отдельным исследованием, которое уже потому не входит в рамки настоящей работы, что парение совершенно чуждо школе разума (и буалоизму) и имеет совершенно другие исторические корни. Но как к ним подойти? Есть ли в западной оде аналогии ломоносовскому стилю? Есть ли прямые западные источники?

Г. А. Гуковский указал однажды на Грифиуса и всю «поэтику немецкого барокко».⁸⁷ Это верно лишь в самом общем смысле отдаленной аналогии. Лирика Грифиуса представлена главным образом несколькими сотнями сонетов. Если помнить строгость жанрового мышления той эпохи, достаточно уже этого, чтобы вопрос о Грифиусе отпал. Просмотр его стихов привел нас к выводу, что Ломоносов, может быть, Грифиуса вообще и не читал, что несколько не удивительно: отвергнутое либо забытое

⁸⁵ Там же, с. 14.

⁸⁶ «Прозаичный» (франц.).

⁸⁷ Сумароков А. П. 1935, с. 334. (В сер. «Б-ка поэта»).

школой разума для него вряд ли и существует. Грифиуса, как Гардерфера, как Цезена, как Гофмансвальдау, он относит к тому полустолетию «ошибки», которое для него, как и для ТрEDIAKовского (ЗС, с. 174), заполняет промежуток между Опицем и Каницем.

Как же, однако, методически (а не по произвольным аналогиям) поставить вопрос о западной традиции парения?

Для этого, кажется, есть способ. Надо взять парение в самом обостренном его восприятии, иначе говоря, в восприятии противников, в восприятии первого поколения дворянских поэтов.

В елагинской пародической афише⁸⁸ насмешка отмечает «бунтование гигантов», «трясение краев и смятение дорог небесных», Оссу и Пинд, «Кавказ и на нем Этну», «Гиганта, который хочет солнце снять ногою». Но ведь все без исключения эти осмеянные темы восходят у Ломоносова к Малербу. Во вздорных одах Сумарокова ирония непрерывно и упорно возвращается либо к тем же гигантам, Этне, Кавказу и трясению земли (т. е. направлена на тот же малербов тематический узел), либо, еще эффектнее, настаивает на огненной баталистике («Пекин горит и Рим пылает»), а она, как это видно из Хотинской оды, подсказана Ломоносову Гюнтером. Сумароков это знает, один его стих:

Ефес горит, Дамаск пылает,

пародирует уже самого Гюнтера:

Der Nil erschrickt, Damascus brennt.⁸⁹

(I, примеч., с. 72)

Далее, эффектно-милитарную тему пылающего Востока не Гюнтер придумал; он развил ее из поразительно частых трактовок этой темы у того же Малерба.⁹⁰ Мы снова возвращаемся к имени родоначальника европейской оды эпохи абсолютизма. Пародии врагов не ошиблись: они били по тематическому комплексу, малербово происхождение которого несомненно. Не ошиблось и общее литературное сознание XVIII в., всегда связывавшее Ломоносова именно с Малербом. Но это исторически совершенно правильное представление современников предстоит научно обосновать. Только тогда можно будет поставить труднейший вопрос, центральный для понимания поэзии Ломоносова, какова была функция парящего стиля. Во всяком случае не придворная и ничего общего не имеющая с немецкой школой разума.

⁸⁸ Берков П. Н. Ломоносов и литературная полемика его времени, с. 102; автор датирует афишу 1752 г.

⁸⁹ «Нил трепещет, Дамаск горит» (нем.).

⁹⁰ По всему этому вопросу см. подробные объяснения в нашей работе «Ломоносов и Малерб» (Пумпянский Л. В. Очерки по литературе первой половины XVIII века, с. 110—132).

Какая же? Ответ на этот вопрос, не говоря уже о его трудности (здесь нужно детальное и сложное исследование), выходит за пределы нашей работы. Лишь в виде привеска к ней мы выскажем несколько соображений.

1. Хоть малербова происхождения, парение превратилось у Ломоносова в явление так широко, не по-малербову, развившееся и настолько принадлежащее ему одному, что вышеприводившаяся яркая характеристика его стиля у Г. А. Гуковского к Малербу самому явно неприменима.

2. Парение нельзя понимать формалистично. Если «восторг внезапный ум пленил», то это могло произойти только потому, что «ум» уже заранее был «пленен» некоторыми идеями, вызывавшими в нем смысловой «восторг». Парение слов предполагает парение мысли.

3. Если вдуматься в наиболее яркие случаи парящего стиля у Ломоносова, то видишь, что они стягиваются к идее государственности, величия русского государства, его военной мощи:

Лишь только ошолчишься к бою,
Предъидет ужас пред тобою,
И следом воскурится дым,

(I, с. 189)

к образу демиурга Петра и в особенности к идее прогрессивной государственности:

Невежество пред ней бледнеет.
Там влажная стезя белеет
На восток плывущих кораблей,

(I, с. 151)

государственности, осуществляющей всемирное дело цивилизации. Далее, сама идея цивилизации, в частности союза между цивилизацией и русским народом:

Я вижу умными очами:
Колумб Российский между льдами
Спешит и презирает рок.

(II, с. 83)

Далее, героизм деятелей цивилизации, ее творцов и распространителей. Недаром перевод оды Руссо («Руссовой оды», как называли ее у нас в XVIII в.) превосходит подлинник. Ломоносов нашел в ней выражение морали стоицизма, ему всегда близкой: велик только тот, кто остается самим собой среди превратностей судьбы, но способен к такому величию только тот, кто представляет своей жизнью единую норму разума:

Вотще готовит гнев Юноны
Энею смерть среди валов,

Премудрость! чрез твои законы
Оп выше рока и богов.

(II, с. 173)

Разум цивилизации, прогрессивная государственность, его осуществляющая, и стоические герои, воплощающие это осуществление (Петр) — вот идейная основа, а следовательно, и смысловая функция парящего стиля. Этим же определяется национально-литературное значение поэзии Ломоносова. Значение это не осталось отвлеченным (возможным). Наследие Ломоносова воспитало лучшую часть поэзии Державина; в державинском преломлении воспринял его и Пушкин: ломоносовская тема прогрессивно-цивилизаторской государственности (и героя ее Петра) вызвала в «Медном всаднике» частичное возрождение (конечно, модернизированное) и ломоносовского парящего стиля.